

Книга для чтения

(Маруценко Ирина)

Москва 2010

ЧАСТЬ I. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ	4
Дети Шелапутина.....	4
О тебе и обо мне в предрассветной тишине	8
История человечества.....	11
Как обычно, каждый день	16
Голоса	20
Вонтафон	22
ЧАСТЬ II. ЧИСТО ТЕОРЕТИЧЕСКИ	26
Отметка в паспорте	26
Сын Жестокого Огня	33
Дашенция и дедушкин	37
Девочки: Машина верба	44
Мальчики: машина Вербя	49
История одного самоубийства	55
ЧАСТЬ III. ПРАКТИЧЕСКИЕ ОПЫТЫ	60
Такая белая куртка.....	60
Самолёт	63
Она-он.....	67
Анорексия нервозна	69
Рыба по имени Нина.....	76
Две сотни	80
Пасьянс	83
...И гости столицы!.....	86
Грудничковый день.....	92
Окна	95
Дача.....	98

Русский борщ.....	102
Голова за облаками.....	106
НЕЧТО АВТОБИОГРАФИЧЕСКОЕ	108
Жизнь как битва, или Четыре возраста	108

Часть I. Обзор литературы

Дети Шелапутина

*Понимаешь, даже если тебе ужасно
неловко, всё это не имеет ровно
никакого значения.
Д. Сэлинджер «Фрэнни»*

*Любое совпадение с реальностью,
оно, типа...как бы это сказать...
...о господи, меня сейчас вырвет.
Автор*

Когда рука будущего вползла под свитер бывшего, П. уже изрядно поднабралась.

Т.е. расклад такой: П. надела свитер бывшего и поехала туда, где тот свитер от души провоняют табачным дымом. И, в случае особого везения, обляпают кетчупом/майонезом. А Х. – и это тоже расклад – елозил вместе со стулом вокруг стула П. и доелозился до удобной позиции чуть позади одесную, и в такой вот позиции засунул свою холодную шершавую длань П. под свитер. Но не напоказ, а чтобы никто, кроме участников, не заметил маневра. Пропальпировал позвонки, убедился в отсутствии прыщей и отвлеченно замер.

Дальше так: пили ответственно, несколько дней, с неременной мерзотной рюмочкой водки по утру, с чашкой пива в полдень и с чем бог пошлет к вечеру. Пили все, даже и старушка Мэгги Ивановна, хотя она-то, бедняжка, существовала только в воображении Х. Но так реально существовала, что Х. приходилось пить за двоих.

А Шелапутин не пил – он был с детьми. Все подходили и восхищались: какие они у тебя славненькие! Ути-пути, хорошенькие! Потом возвращались за стол и начинали спорить, как конкретно зовут детей. Такие простые, замечательные русские имена! Это была актуальная тема для беседы. А Мэгги Ивановна, та вообще не могла запомнить – у

Шелапутина девочки или мальчики. Но тоже сочувствовала, что вот приехал и не пьет, как приличные люди.

Т.е. расклад такой: присутствие Шелапутина с детьми позволяло заткнуть дыры в застольном разговоре. И вот П. сидела, возвалив себе на спину руку Х., прихлебывала водку и ожидала дальнейшего расклада.

Дальнейший расклад осуществился не справа, как хотелось П., а слева и откуда-то снизу. Именно оттуда звонкий детский голос спросил:

– Тетенька, а зачем вас этот дяденька за спину держит тайком?

П. изумилась столь меткому наблюдению. Она поглядела навстречу голосу и увидела девочку лет полутора. Судя по непропорционально крупной попе, под голубенькими колготками девочки таился памперс. Ну ни фига себе, какое развитое у Шелапутина дитя, заволновалась П. Эдак и рассекретит еще нас – а они с Х. секретились, по крайней мере пока. Тут из-под стола шустро выбралась вторая – трехлетняя – Шелапутина, а за ней и третья, в ползунках и с соской.

– Верка, – строго сказала старшая, – что ты сюсюкаешь? Тетенька, дяденька – фу. И не кричи об интимных вещах на всю комнату.

Верка покраснела и прошептала:

– Надь, ну мне же как бы полтора года... *noblesse oblige*...

Надя забралась на свободный стул рядом с П. и сообщила:

– Вот, я устроилась. На Любку внимания не обращайтесь, – махнула маленькой ручкой небрежно и царственно, – она и говорить-то у нас пока не умеет.

Младенец Любка сидел на полу, яростно двигая соской во рту и щупая огрызок соленого огурца.

– Вы какие-то странные, девочки, – тревожно сказала П. – А где ваш папа?

– Пример дикой логики взрослых, – вздохнула Надя. – Вопрос же не в том, где наш папа. Мы же, в конце-концов, не спрашиваем про местонахождение вашего.

– Вопрос не в том, – повторила П., тупея с каждой секундой. – А в чем?

– Вер, выдай ей, чтоб мы уж дальше могли нормально беседовать.

Вера подошла к П. и задушевым голосом сказала:

– А ведь он рискованный человек. Ведь рискует же, ведь ну мало ли – может, я психопатка какая. Буду подкарауливать его в подворотне, закатывать истерики, дарить

галстуки, носки, трусы, напрашиваться в гости и писать томные рвотные вирши с рефреном «возьми меня, любимый, возьми».

П. покраснела просто до самого до, а затем – в обратном порядке – побледнела. Верка продолжала:

– А разве и я не рискую: вдруг он окажется очередным проходным вариантом, таким чемоданом без ручки, с которым бродишь туда-сюда и всё. Ревнивый, депрессивный, жадноватый, станет приходить в гости с парой бутылок пива и выедать запасы сосисок из морозильника. Кстати, с Мэгги Ивановной станет приходить...

– Хватит, – прорычала П. и вцепилась себе в волосы. – Не хочу я больше слушать свои мысли.

– Конечно, хватит, – легко согласилась Надя, – да там и нет больше ничего, правда, Вер?

– Правда, Надь. Мы, собственно, просто хотели как-то обозначить ситуацию. Вот вы сидите, отдыхаете, мужчина справа вас... ну, трогает...

– Мацает, Вер, мацает! – вклинилась Надя. – Побольше юмора в разговоре о человеческих слабостях, сколько можно тебе повторять.

– Мацает, хорошо; а вы сидите и рефлекслируете на тему – вступить с ним в половую...

– Ой, ну сил моих нет, бюрократина, – застонала Надя, – иди лучше, сходи за конфетами, я их на кухне видела. Ужасный у Верки язык, правда? – повернулась она к П.

П. стеклянно смотрела в пластиковый стаканчик.

– А обратите внимание на предмет ваших размышлений, – присоветовала Надя.

П. обратила. Предмет держался рукой за поясницу П., но кренился не к ней, а к своей соседке справа, и в таком вот раскоряченном положении тянул:

– Ну это парадокс... ну я никогда... не встречал... таких сексуальных ушей... ну как ваши... – он всегда начинал мычать, желая произвести впечатление, и производил же.

П. вздохнула и посмотрела на Надю:

– О чем он, интересно, думает?

– Да ничего там нет интересного. Понимаете, здесь никто не думает ни о чем интересном. Ваши мысли – это на общем фоне еще туда-сюда, хоть что-то связанное. А вон товарищ от вас по диагонали, да, вон тот – сплошное врблмн в голове, просто ужас. – Надя вздрогнула, и так П. ее пожалела! Сидит крошечная деточка, шелапутинская

малышка с необъяснимыми и напрочь ненужными умениями, вроде навыка копать в пьяных мозгах окружающих. П. тихо заплакала.

– Что уж тут плакать, – не усекла Надя причину расстройства П.

– А что же делать, – шмуригнула носом П. – Мы же все тут думаем о конкретной жизни, каждый о своей.

– Да что вы говорите! Даст вам этот мужчина или не даст – это ваша жизнь? То есть, допустим, у вас с ним все будет – и что? Вам откроется мудрость вселенной? Нирвана там снизойдет, просветление? Секрет вечной молодости? Пара-тройка физиологически приятных моментов: вот ваш максимум достижимого.

П. вытаращила на Надю глаза.

– Ладно, пусть не пара-тройка – десяток. И ради одной ерунды вы целыми днями забиваете себе голову другой ерундой. Нормально?

Мимо П. к столу протиснулась Вера и начала выкладывать из карманов конфеты. Ручки у нее были испачканы шоколадом.

– Вот Верка у нас, – Надя кивнула на сестру и стала разворачивать фантик, – она, например, полагает, что всё вокруг – Бог. Вы – Бог, этот ваш справа – Бог, стол – Бог. В целом, конечно, полный бред, но ведь бред концептуальный: один Бог проистекает в другого. Круговорот Бога в природе – вот это круто, я понимаю! Если б вы придерживались веркиного мировоззрения, вы б и голову не мучили, а радостно соединяли бы и разъединяли Бога.

– А Надя, – подхватила Верка, – следует принципу полной предопределенности. Она у нас фаталист в очереди за картошкой. Только в конце вместо картошки – пропасть, покупатель в нее бах, а из кассы уже голос: следующий!

– И опять же, думай вы про эту очередь, вы б не стали часами заморачиваться о глупостях, просто жили бы, пока до картошки еще далеко.

– А Любка, хоть она и говорить-то еще у нас не умеет, но тоже уже – человек с личной парадигмой!

– А у вас ни у кого здесь никаких парадигм, даже принципов никаких.

– Нет, ну худо-бедно принципы у них найдутся. У одного принцип – говорить только правду, у другого – не носить белое, у третьего – спать под отдельным одеялом.

– Я и говорю – тупые какие-то принципы.

– Беспринципные.

– Мелкие.

– Глупые.

– Дебильные.

– Какашечные!

– Верка, что за детский сад!

– Надь, да вечно ты недовольна. То тебе детский сад, то районная бухгалтерия.

Смотри, у Любки соска вот-вот выпадет.

Рука Х. покинула налёжанное место, и П. обернулась посмотреть, что происходит. Согласно веркиной концепции, один Бог, очевидно, собирался пойти перелиться в другого, для чего и встал со стула. Согласно концепции Нади, люди незатейливо проводили время в очереди. А Люба еще и говорить-то не умела.

П. захотела кое-что уточнить, но обнаружила, что девочки исчезли. П. заглянула под стол: кроме сучащихся взрослых ног, там никого не было.

– Народ, а куда Люба, Вера и Надя делись? – спросила она тех, кто остался. – Ну, дети Шелапутина?

– У Шелапутина – Катя и Маша, – ответили напротив.

– Эге, марсианину больше не наливать! – закричали сзади.

Все за столом засмеялись, и П. тоже. Ну я же просто ну феерическая дура, думала она.

О тебе и обо мне в предрассветной тишине

Когда-нибудь в колокол сонный

Ударит пудовый язык

И чистым малиновым звоном

К тебе полетит этот крик

Ю. Антонов «О тебе и обо мне»

Я хочу, чтобы ты умер.

[непечатно]

Ну, хотя бы в пустой квартире человек может позволить себе слабость откровенности? Без вот этого вот ханжеского «лучше б нам никогда не встречаться»,

«лучше б мне куда-нибудь уехать», «не надо было пить на той вечеринке». Потому что: не лучше, не лучше, очень даже надо. Тогда наливали полусладкое Мартини Асти, понятно?

Я проснулась в четыре утра и, не разобравшись, решила – это оттого, что тебя нет рядом. А где ж ты?

[непечатно]

Да-да, как же, знаем: в застарелом лоне семьи, со своей девочкой, которая заветрелась подобно куску сыра в холодильнике. Сыр лежит себе, полёживает не завернутый, первое время выпускает мутную жирную слёзку, а потом просто каменеет... съесть совершенно невозможно (у тебя же, ё-мое, протезы), а выбросить жалко.

Я сказала – с девочкой?

[непечатно]

Да она перетерпела пубертат лет сорок назад (пусть возрадуется, что я не сказала – сто). Я моложе, а толку.

Впрочем, у меня небогатая фора: тринадцать лет и пятьдесят четыре дня. 1354. Всё собираюсь поискать этот год в интернете — уверена, что-то такое тогда произошло, неважно, где. Например, испанская инквизиция сожгла необычайно много ведьм. Это было бы... знаково. По крайней мере, для битвы старух на климаксах: у кого тяжелее.

[непечатно]

Так вот, я проснулась внезапно (вне тебя) и решила, что в квартире стоит мой срежет зубовный, да что там – вой от первого до последнего этажа.

Сдooooooooooooooooхни.

Ничего себе, удивилась я и, на всякий случай, потрогала рот. Рот молчал.

За стеной были соседи.

В дневной жизни я начала их немного узнавать: день добрый, у вас батареи тёплые? А то по нашему стояку вечные воздушные пробки... (на слове «стояк» мы сдержанно ухмылялись друг другу, как заговорщики). Обычная пара – молодожёны ли, любовники, пяток съемных квартир за год. Не старше тридцатника.

[непечатно]

Конечно, любовники – теперь понятно. А мощная женская партия – та, которую спросонья я приняла за собственную арию – принадлежит девочке, только не нашей, а их. Девочке, выводящей рулады перед мужем и его кисой, что-то вроде: да он негодяй! да он подлец! бросит тебя и (плохо слышно), и сдоооооохнешь.

Слышно достаточно хорошо, спасибо.

Я встретила тебя слишком поздно, чтобы думать о детях. И всё же, всё же — слишком рано; подожди я каких-нибудь двадцать лет, и два старичка дожимаивали б жизнь сообща, пока твоя девочка RIP в пригородной зоне. У нас была бы кошка, и, чтобы отличать её от меня, ты перестал бы звать меня кисой.

Я очень самоуверенна? О да.

Я полагаю жизнь предсказуемой штучкой? О да, просто пред, ё-моё, определённой.

[непечатно]

Меня до сих пор приглашают за компанию, за шмотками, замуж, туда-сюда-обратно; пустое. Всё напрасно, и я торчу в однушке на Севастопольском, я торчу от коньяка, а вы, возможные партнеры по строительству ячеек, ступайте прочь. И так, и далее.

[непечатно, непечатно, непеча... ого!]

Солистка вывела: да доооченька, да что ж ты де-ла-ешь?

Вот так. ИХ девочка в полсекунды стала мамой. Волнение, прикрытое тяжёлым щитом генома, не каким-то там жалким штампиком из ЗАГСа. Я с затруднением припоминаю лицо этого негодяя; а ведь и правда — рожа соседа отдаёт теперь, ну, криминальным.

Они затихают, и в молчаливом рассвете девочка вновь оборачивается эксклюзивом. Персонально для нас. С этой точки зрения она даже не сильно раздражает.

Я хочу ещё немного порассуждать о глупости и гордости, обо всех, ё-моё, буквах «ге» жизни, может быть, даже и вслух порассуждать, потому что — кого мне стесняться, но упс.

Упс (мерзость какая! — верещит мой внутренний сноб, и я давлю его, давлю гада, повторяя тупое междометие раз за разом), а в дверь-то звонят.

Входишь ты, пьяный, разобиженный вдрызг нашей девочкой-бабулей, сам собой в морщинистых ботах и вонючих носках. Входишь и печально (Пушкин подсказывает дополнение: как говорится, машинально) хватаешь меня за сиську.

Спасательный... круг?

Жизнь продолжается.

История человечества

*...это не мы играем с детьми, забавляя их
чем только можно, а они, как существа
более чистые и разумные, играют с нами,
чтобы приглушить в нас боль нашего жития
В. Распутин «Что передать вороне?»*

*Они тянут дуэтом – не выходит ни хрена
Сектор Газа «Мак»*

Предок торчал дома.

Нет, полный ахтунг: предок торчал дома один.

Димон въехал в ситуацию быстрее, чем успел прошептать «блинский потрох»: подсознание в момент заценило количество тапок в прихожей. Еще пару секунд он тупил, на всякий случай пересчитывая пары обуви: ахтунг и есть, матушка с сеструхой где-то шарятся. А предок, стало быть, дома.

Попробовал обмануть судьбу-злодейку, двигаясь бесшумно, за что и поплатился: прищемил пальцы одной руки дверью, взвизгнул «бля!» и уцелевшей рукой смахнул ключи с полки вниз. Хуле стеснялся – зашел бы сразу, врубив на мобиле «Сектор» погромче: результат тот же. Такая непраха.

– Митрий, ты, что ли? – приветливый бухой голос выплыл из полутемной кухни: предок квасил при интимном свете уходящего дня. Пару минут назад он, железно, кемарил, решил Димон и окончательно расстроился: ну был же, был шанс прошмыгнуть к себе незамеченным. Все просрал.

– Ага, – ответил Димон и пошел на кухню.

– Сы-ына! – обрадовался предок, растекшийся локтями и лицом по столу. Не с первой попытки он подобрался и сел ровнее, продолжая с умилением таращиться сквозь сумерки на Димона.

– А я тут вот, сижу...

Димон подумал, что предок у него отстойный. Про такого тусе рассказать нечего. Неспортивный, небогатый, тачку не водит, спортканал не смотрит. Даже бухает криво: во-

первых, редко, во-вторых, сам того стесняется, как не мужик. Напьется и давай триндеть; причем ладно бы, матюгался или слова жевал: ни хрена такого прикольного, вещает, как у себя на лекции. И этим своим бубнежом стремится окончательно вынести жертве мозг. Поэтому Димон про предка вообще ни с кем не делился – типа у него свой мир, а у предка свой, и они не пересекаются. Как бы конфликт поколений. В таком, пусть надуманном, контексте Димон казался самому себе brutalным.

– Послушай, Митрий, мне открылась удивительная вещь! А именно: человечество в целом развивается, как отдельно взятый человек. Сейчас, погоди, я вот горло промочу и все объясню. Ну, за тебя, сына, извини – накатило.

Ага. Свежо питание, да серится с трудом. Вечно он вот так: стесняется, извиняется, порет сплошную фигню... Как будто у Димона больше дел нет, только предку внимать.

– Включи-ка свет и изволь взглянуть, – предок продышался и потянул к себе альбом с картинками. Водку он пил всегда в окружении книг и как-то по-бабски, обмахивая рот после каждого стопаря, словно в прощальном жесте. Да и профессия была бабья: краевед. И не где-нибудь – ахтунг, ахтунг! – в Дарвиновском музее. Тусе скажешь, так обосрут от радости, а Димону деться будет некуда, придется давать в табло. Потому что хоть и отстойный предок, но свой.

Отстойный предок сдержанно рыгнул и развернул иллюстрированный талмуд к Димону.

– Итак, наскальная живопись. А-а, вижу, что узнал. Знаменитая пещера Ляско, верно? Ротонда с быками. Ладно, а вот из эпохи неолита – «Сражающиеся лучники». И вот, и вот... – смачно шлепались глянцевые страницы. – Митрий, ты, разумеется, понимаешь, когда возникли эти рисунки: тысячелетия назад! А теперь обрати внимание на сей потрепанный листок. Да-да, твои первые картины, мы с мамой сохранили. А здесь Леночкино творчество, ей полтора года было. Что, похоже? Каменный век чистой воды: ни техники, ни понятия о перспективе...

Димон размышлял, где бы калиевой селитры надыбать. Натриевая для пороха не годится: сыреет в момент, так что получается не порох, а пукалка детсадовская.

– ...умение двумя-тремя штрихами изобразить суть предмета, – предка, как водится, конкретно пёрло. – Итак, человечество до палеолита – что новорожденный младенец. Лежит, сосет соску, творческая энергия существует пока только в потенциальном, не кинетическом, виде. Потом, месяцев в восемь-девять, ребенок учится сидеть, добирается

до пишущих предметов, черкает что-то... Это начало каменного века, да. Первые, так сказать, каракули.

Деня говорил, что надо ехать на Птичку, там рядом есть рынок садоводов-любителей. Они от калиевой селитры тащатся, как удав по дусту. Типа, клёвое удобрение и все такое. Натриевая селитра хуже – вот она везде и продается, потому что на хрен никому не сдалась.

– А почему, спрашиваешь ты, младенческий этап развития человечества затянулся на столь длительный период? Ну а разве твое младенчество было короче? Я думаю, люди не помнят первых месяцев своей жизни как раз таки из-за бесконечности субъективного времени новорожденного...

Серу на шпалах Мелкий насобирает – еще до того, как ему в табло прилетело от Кучеренковской тусы. Козлы отмороженные, впятером на одного. Мелкий вторую неделю в больнице корячится. Он ваще, может, рецепт пороха забыл, с треснувшим черепом-то. Но и Кучеренку они потом не кисло отхерачили. Сходил, мутило, за хлебом без своих шестерок.

– Средневековье, конечно, соответствует возрасту человека от десяти до тринадцати лет. Переходный период, Митрий. Та же скованность мышления, припадочки стыдливости вперемежку с развратом. Картины, если поглядеть, аккуратненькие, гладкие, с попытками сохранить и передать пропорции. Однако ж умения по-прежнему недостает. Логично – мастерство приходит с годами упорных занятий...

Димон подумал, что шторы в своей комнате он зря ликвидировал. Теперь, если на батарею повесить селитрованные газеты для просушки, обязательно кто-нибудь влезет с интересом типа «а хуле?». Не предок, конечно – этот, кроме мазы потрындеть, ничего в жизни не замечает. Лично Димона такой пофигизм устраивал, по крайней мере теперь. Когда маленький был – конечно, пытался с предком как-то позатирать на разные темы, но потом понял: бесполезняк, да и забил.

– Возрождение... – промычал предок, закатив глаза, и тут же оживился, – за эпоху Возрождения, извини, сына, но за эту эпоху надо выпить! Ну, будь здоров... Ах, восемнадцатилетие человечества, взрыв жизни! Митрий, скоро ты и сам постигнешь всю восхитительную мощь этого жизненного этапа... Волшебное время, когда не существует ничего невозможного, когда твое собственное тело становится инструментом для извлечения наслаждений из любой деятельности – будь то секс, искусство или

дуракаваляние. Вон, рядом с твоим локтем, лежит каталог по авторам Возрождения и стилю барокко – он возник чуть позже, на имеющейся так сказать, базе – изволь взглянуть. Какие краски, какое чувство жизни, согласен? Ощущение собственного бессмертия и всемогущества, вот что такое – восемнадцать лет!

Предок опять стал тыкать в харю картинками, не прекращая одобрительного трындежа ни на секунду. Пришлось с умным видом разглядывать толстожопую голую тетку, вокруг которой тусили младенец и – почему-то – ниггер. «Туалет Венеры» – ха! Ахтунг какой-то.

– Но юность юностью, а учебу никто еще не отменял. Я тебе, Митрий, как взрослому, адекватному человеку говорю: настоящее учение начинается только после школы. Ведь школа, по сути, обучает только хождению строем, не более. Шаг вправо, шаг влево...

Точняк! Предковская жирная Венера лицом точь-в-точь их математичка! Во, блинский потрох, надо этот шедевр в сети найти, распечатать и в школку притащить – пипл обосрется от радости. Вроде бы у Серёги был фотопринтер? Можно, конечно, и на черно-белом распечатать, табло по-любому видно будет. Но на цветном прикольнее. И на доску перед уроком прилепить, ничо так.

– Двадцать пять лет, – бубнил предок, подрагивающей рукой наполняя стакан, – следующий переломный момент и в общем, и в частном смыслах. Позади университет, диплом, а то и кандидатская. Это уж кому как повезет; я не собрался, а мама наша защитилась. Мама у нас мировая! Словом, молодость дополняется глубинным знанием, но озорство еще теплится. Да, сына, за маму, за нее – стоя!

Предок чего-то вскочил, потом опять сел; Димон не понял, с какого перепуга. В принципе, такая активность означала скорый конец застолья: перед тем, как упасть таблом на плоскость и отрубиться, предок начинал движуху, бессмысленную, как он сам.

– Да, так вот, двадцать пять лет человечества – это импрессионизм. Импрессионисты ведь были великими знатоками законов жизни, Митрий, и когда я слышу, как кто-то говорит – мазня, мол, они просто рисовать не умели, меня всего коробит от чужой глупости. Ты-то молодец, от тебя подобной ерунды никогда не исходило – и правильно! Потому что эти художники, несомненно, дело свое знали. У меня, увы, до сих пор нет приличного альбома с репродукциями, но где-то тут был набор открыток... где же, где же... Ну, да бог с ним. Знание, мастерство и пока еще свежее восприятие: вот в чем суть

двадцатипятилетних, Митрий... Я, конечно, галопом по Европам, как говорится, очень общо, но ты парень умный, ты понимаешь.

До субботки шторы надо возвратить в комнату; интересно – матушка их на дачу отволокла или еще не успела? После физры они с Деней смотаются на Птичку за селитрой, а потом тут будут газеты готовить. С порохом, ясен пень, пока полный ахтунг: сера у Мелкого дома, рецепт у Мелкого в черепахе, а сам Мелкий в больнице. Непруха. В субботу как раз предок будет лекции вещать в своем музее, а матушка с сеструхой за город упилят. А в воскресенье тогда из подсохших газет можно будет ракет наладить, и запустить вечером.

– Сейчас человечеству лет примерно тридцать – тридцать пять. Унылая пора, и ни малейшего, Митрий, очарования. Человек, как бы возвышен он ни был в юности, в определенный момент опускается до земных проблем. Дети, карьера, в дом надо новую мебель купить, на даче смородину посадить. Денег нет... Или есть, но мало. А проблем, напротив, много – и тут не до творчества, друг мой. Оглянись, посмотри, что происходит вокруг? Где они, новые имена, где великие художники современности? Один Сафронов чего стоит, а уж Церетели, не к ночи буди упомянут... Деньги, деньги и еще раз деньги, сами по себе и в виде материальных благ. Человечество сделало инсталляцию унитаза и иссякло. Как думаешь, сына, надолго? Митрий?

– Н-ну... – протянул Димон. И чего? Чего привязался-то? По всем параметрам, предку давно пора вырубиться, а он еще вопросы, вроде бы, задает. Блинский потрох, когда ж это кончится-то?

– Совершенно верно! – предок обрадовано воздел к потолку указательный палец и покачал им. – Не будем сбрасывать со счетов так называемый кризис среднего возраста. Скоро, лет в сорок пять или около того, в смысле, через пару столетий, человечество махнет рукой на трясины быта и погоню за прибылью. И родятся новые гении искусств! Но в итоге... – предок поник, свесил голову на грудь и замолчал. В наступившей тишине Димон отчетливо расслышал, как полоумная бабка с нижнего этажа беседует со своим котом. Слов было не разобрать, только визгливый, приторно-нежный голос. Димон подумал, что, когда вырастет, обязательно заведет себе ротвейлера.

– В итоге старость, сына... Беспомощная и хорошо бы, если не безмозглая. Таков и будет финал человечества – минимум физической активности, секс тоже только в виде исключения, для тайных извращенцев... Максимум покоя и созерцания – это если,

конечно, обойдется без Альцгеймера. Ты возражаешь: а как же покорение космоса, межпланетные города, путешествия по Вселенной? Увы, никак. Не предусмотрено программой, Митрий, не предусмотрено программой...

На лестничной клетке лязгнул лифт, послышались возбужденные голоса и шкрябанье ключей о замок.

– Девочки наши пришли! – вяло вскинулся предок и уже не делал попыток пошевелиться.

Димон рванулся к себе в комнату, грохнув табуретом – так бегут по нужде после длительного воздержания. Уже десятый час, ёпта! Турнир по сетке закончился, слону понятно, но погамиться просто так есть время. Ахтунг, это ж надо было так бездарно вечер просрать. Пока комп грузился, Димон волей-неволей слушал радостный голос неожиданно взбодрившегося отца:

– Но, мать, какой у нас сына, а? Ленок, слышишь, какой у тебя брат? Интереснейший собеседник! Мы с ним весь вечер проговорили, да. Человеку тринадцать лет, а он мастерски – Ленок, слышишь? – по-ле-ми-зи-ру-ет!

Как обычно, каждый день

*Мы так часто обманываем себя, что
могли бы зарабатывать этим на жизнь.*

С. Кинг «Дьюма-Ки»

Все, как обычно. Монотонная жизнь перетекает из одного дня в другой без заминок: утрешний путь на работу, обед, острое мерцание монитора в сумерках, а вот и уборщица-тоже-человек гремит опустевшими стульями – всё. Приходите завтра.

Меняются только детали. Сегодня, например, у выхода из метро дежурит не безногий баянист, а – сюрприз, сюрприз – девица с конем. То есть с лошастью (мерином, кобылой). Девица гнусаво канючит, срывая голос:

– Люди добрые, не проходите мимо! Помогите лошадке на корм! Она живая! Люди добрые, не проходите мимо...

Лошадь смотрит за горизонт добрыми равнодушными глазами.

Лена чуть-чуть не врзается в попрошайку и бормочет:

– Людям жрать нечего, а тут эта со своей кобылой...

Тихий комментарий едва ли достигает ушей девицы (та даже не сбивается с речитатива), но Лене по необъяснимой причине становится весело. Ну вот весело, и все. Чувствует себя таким фу-ты ну-ты защитником человек. Да и фраза, пущенная экспромтом, по мнению Лены, удалась, и всю дорогу до дома она повторяет про себя «тут эта с кобылой», пока знакомые слова не превращаются в иностранную тарабарщину. В детстве у них была такая игра: говоришь быстро «банка, банка, банка», а в итоге получаешь – «кабан». И можно запутаться, что было в начале: кабан или банка...

Тут эта с кобылой. Тутэ тас кобы лой. Тутэ! Тас, кобы, лой – раз, два, три.

И чем ближе дом, тем сильнее становится предчувствие. Наконец, просто для разнообразия, хорошее (давненько не случилось). Может быть, не все, как обычно. Может быть, кое-что изменилось.

Итак (тутэ!), вот и родимая семизэтажка. Подъезд второй (кобы), этаж третий (лой), квартира...

От темной стены мусоропровода отделяется тень.

– Привет, мамочка!

Паскудная это штука – хорошее предчувствие. Возникает без причины, исчезает, не попрощавшись. И чем ближе подходит девочка с розовым китайским ранцем за спиной, тем очевидней истина: изменений не предвидится.

– Я опять ключи забыла... Только не ругайся, мамочка, я у Зинки Кореновой сидела, а тут совсем немножко ждала!

Лена утыкается лбом в дверь, в то место, где пьяный Вагиз – или Тенгиз? – пропорол ножом обивку. Мягкий лоскут синтетической кожи и поролона висит, как язык, заголив стальную основу, уже с год. Металл такой холодный, что начинает ломить виски. Девочка мнется рядом, подкидывая на плечах аляповатое китайское изделие:

– Мамочка, ну не сердись, а? Ну мамочка...

Лена с силой втыкает ключ в замок, словно надеется сломать его в личине и получить благовидный предлог на ночевку где-нибудь подальше отсюда. Тщетно. Механизм срабатывает без заминок (как обычно, как всегда). Лена заходит и с силой захлопывает дверь. Девочка с ранцем, видимо, поднаторела в боевой обстановке: она уже в прихожей. Получить железной – пусть и обшитой дерматином – доской по лбу ей не грозит.

У Лены вырывается:

– Доколе, Господи?!

Вчера, кстати, было – «Боже мой, когда это кончится?», позавчера – «Господи, сколько можно?», а сегодня, нате вам, библейское «доколе». Новая, заметим, деталь. Лена начинает хохотать: смешно, правда, смешно, когда День Женщины С Лошадью на проверку оказывается Днем Филологических Упражнений.

На лестничной клетке открывается дверь, выходит соседка с мусорным ведром. Она слегка завистливо косится на звуки приглушенного железной дверью смеха. Поролоновый язык колышется от подъездного сквозняка, словно поддакивает.

– Веселятся, – констатирует соседка и шаркает вниз.

А тем временем в веселой квартире девочка помогает Лене снять пуховик и сапоги, с которых натекают лужи грязной талой воды. Отталкиваясь руками от узких стен и хихикая, Лена убредает на кухню, а девочка споро вытирает шваброй пол и кричит ей вдогонку:

– Мамочка, я картошку с утра почистила, она у плиты! В желтой кастрюльке!

Детская логика. У Лены только одна кастрюля (действительно желтая).

Она режет плотные поскрипывающие картофелины соломкой и жарит на растительном масле. Лена любит чуть сыроватую картошку с подгоревшей корочкой: по-другому у нее не получается.

– В траве сидел кузнечик, совсем, как огуречик, совсем, как огуречик... – напевает девочка, раскладывая на столе вилки и тарелки.

– Заткнись, – цедит Лена и тут же неуместно прыскает.

Соседка возвращается к себе с опорожненным ведром. Идет на кухню, с ненавистью смотрит на пьяного парня за столом.

– У-у-у, паразит! – говорит она и замахивается кулаком. – У всех семьи как семьи, дети как дети, а у меня пьянь подзаборная. Тьху, глаза б мои не глядели!

Лена тем временем доедает картошку. Она уже не пытается прервать девочку и та, позабыв про ужин, увлеченно болтает:

– ...а Соколов, который Колька, мне на перемене стал юбку задирать, и Зинка сказала, что, значит, он влюбился! А я думаю, что это неправильно, обижать того, кого любишь. Еще по матике мы начали проходить пропорции, и мы с Зинкой ни-че-го не поняли, ну совсем ничегошеньки! А ты понимаешь пропорции?

– Послушай. – Лена откладывает вилку и встает, чтобы налить себе чаю. – Послушай меня внимательно...

Девочка умолкает и смотрит на Лену серыми глазами с очень яркими белками – без единого сосудика. Лена набирает в грудь воздуха. Все, что она собирается произнести – бессмысленно, потому как произносилось сотни раз прежде и будет произнесено потом, опять же, с нулевым результатом. И неожиданно для себя говорит новое:

– А помнишь, как я учила тебя играть в «банку, банку»? Тебе, по-моему, лет пять было... или около того.

Девочка шевелит губами: ясное дело, получает из банки кабана. Улыбается.

– Когда ты была совсем маленькая, ты орала, как иерихонская труба. Только на руках и затыкалась. Или если бутылочку сунуть. Я сейчас думаю – а что бы было, откажись я с тобой возиться? Ну воткнула бы беруши или вообще бы на море уехала, на недельку-другую...

Девочка опускает голову.

– Но я же не убийца! – шепотом кричит Лена. – Я обычная женщина. Между прочим, не я одна такая. Но вот ты мне объясни, зачем ты мне портишь мою личную жизнь? Почему не оставляешь ни единого шанса? Мне скоро тридцать восемь... Ладно с матерью мы разъехались по твоей милости. Это мелочи, мы с ней никогда друг друга не жаловали. Но вот Вагиза ты зачем довела?

– Тенгиза, – поправляет девочка. – И я его не доводила. Он сам.

– Да уж, сам. Нормально ему было чувствовать твое присутствие в квартире?

– Мамочка, он был плохой. И вообще, женатый.

– Да тебе все плохие. И Тенгиз, и Шурик, и Валентин вот Васильевич тоже.

– Не все! Ты хорошая!

Лицо Лены перекашивается. Она щурит глаза и четко произносит то самое, набившее оскомину:

– Тебя нет. Понимаешь ты, тебя просто не существует! Десять лет назад я сделала аборт. Когда ты была еще во-от такесенькая. – Лена сводит указательный и большой пальцы близко-близко. Почти смыкает их. – Миллионы теток так делают, и ничего, живут припеваючи! Одна я...

Лена смотрит на девочку, ожидая, что та сейчас заколеблется, словно призрак, и истает в воздухе. Как положено нормальному привидению. Но ничего не происходит

(десять лет, каждый день). Тут Лена бессильна. Она не может уехать из дома надолго, оставив ее без еды – хотя зачем еда призраку? – она не может придушить ее подушкой, она не может даже ударить ее. Она просто желает, чтобы ее не было.

Ведь еще не поздно, совсем не поздно. Лена найдет себе мужчину, а вот детей она больше не хочет, нетушки. Никогда не хотела, но уж сейчас – особенно. Она выглядит моложе своих лет, у нее отличная фигура и хорошая работа, и если не считать маленькой привычки беседовать с пустым местом... Не было бы девочки, не стало бы и привычки. Но она есть. Они есть.

Лена закрывает лицо руками, локтем опрокидывает чашку с остывшим чаем. Девочка вскакивает:

– Мамочка, я уберу!

Соседка тащит сына в ванную, того по пути выворачивает. Соседка причитает:

– У всех дети как дети, а этот!

Девочка, орудуя тряпкой по столу, рассказывает, как ни в чем ни бывало:

– А Чигирский сегодня такой анекдот рассказал смешной! Короче, Чебурашка с Геней едут на велосипеде, Гена педали крутит, а Чебурашка на руле сидит. Тут их милиционер останавливает и говорит – немедленно снимите с руля. А Чебурашка, такой, обиделся – я не Сруль, я Чебурашка! Правда, смешно?

Смешно, правда, смешно. Лена чувствует, как прижатые к глазам ладони становятся мокрыми. Ради разнообразия она плачет.

Голоса

И когда мой голос похабно ухаёт

От часа к часу, целые сутки,

Может быть, Иисус Христос нюхает

Моей души незабудки

В. Маяковский «Облако в штанах»

И подумаешь, восемнадцать лет, и подумаешь – молодость! Скучно. Обрыдло всё. Так бы головой вниз кувыркнуться отсюда; тогда станет, безусловно, веселее. Скорая там, встревоженные родичи в приёмном покое, друзья. А может, всё до больницы закончится,

хотя третий этаж – не та высота. Но если на голову упасть... Хряпс, и шея в позвоночник вошла. Буду лежать в гробу с головой, торчащей сразу из плеч – стра-а-ашная! Скучно.

И тут его понесло. Я ору, как бешеный: Серый, правее, правее бери, к берегу! Давай к берегу... Не дал. Наши из группы, кто на берегу, мечутся, а я, когда мы кильнулись, за камень вцепился и висю. То есть повис. Потом руки еле разжал. А ведь был к нему ближе остальных... Ну что-что – всё. Нету Серого.

Самый счастливый день? Не знаю... Хотя вот: вчера шла домой, вдруг сзади шорох какой-то резкий: фр-р-р! Лихач на джипе со всего маху в лужу въехал, фонтан плеснул с меня ростом. Цунами, блин. Если б я на секунду где-то в пути задержалась, окатило бы с ног до макушки, а так – успела пройти, просто спину чуть-чуть обрызгало. Но если серьёзно, то это сложный вопрос.

Как же хорошо на природе! Всего-то надо: собраться с ребятами, палатки со спальниками прихватить, еду, бадминтон. И на электричке – за город! Иногда приходят, просят: турист, дай закурить; а мы-то все некурящие и непьющие. Свидетелям не то, что запрещают – это наш свободный выбор, отказ от дьявола. Пока едешь, объясняешь людям; некоторые сектантами обзывают, а иные обращаются – и сердцу радостно. В лесу ляжешь спать и чувствуешь, какая земля огромная и тяжёлая, а ты сам такой лёгкий и к Царю близко.

Я одно всегда говорила, что детям врать нельзя. И дочери – только правду. Да, я за отца по расчёту. Но не из-за денег, ни Боже паси! Расчёт тоже разный бывает; надо смотреть, каков мужчина в быту, в транспорте, как он к старикам и детям. Вот, так к чему это я? Ах да: дочь лицо кривила-косила, «только по любви, только по любви». А потом выросла, поумнела – и пожалуйста, нормальная семья. Значит, не зря я голос срывала.

Недугов у меня много, но я им не поддаюсь, так как по натуре живой, энергичный, упрямый (Овен). Когда становится очень грустно, иду в парк, пишу стихи – они меня спасают, убивают тоску, дурные мысли. Например: «Только я не хочу оставаться в забвении: Ведь не зря свою жизнь так активно прожил. Не шарахался прочь от помпезности веяний, Верил в смысл своей жизни и всем дорожил. За туманом побед не гонялся ни разу я. Жил, как большая часть населения Земли, Но большие удачи я чувствовал, празднуя, И хотел, чтоб все люди так тоже могли».

Не, а что надо-то? Я ее спрашиваю – ну вот чего не хватает? Ребенок – тьфу-тьфу-тьфу – уже институт заканчивает, от армии его откосили, муж не пьянь, не рвань, не

гулящий. Всё в дом, всё в дом! Телевизор плоский – во! Полстены занимает. Микроволновка, кофеварка, пароварка: все дела. А она заладила: не для чего жить. Ишь ты!

Мы очень много денег собрали, уже можно было билеты в Германию заказывать, но неожиданно – терминальная стадия, и Насимчика мы не удержали, не спасли, как до того – Катю, Витаську, Леночку и многих иных; но многих ведь вылечили: нельзя опускать руки, фонд должен работать, потому что очень много детей ещё живы, и они ждут нашей помощи.

С пацанами как-то в баре сидели, и я, такой, смотрю: ну! Она сидит, такая уютная, прикольная. Ноги смешные: бутылочками. Я б такую в жёны взял. А Тоха мне, такой: чо ты на эту зыришь? Она жирная и старая. Я пригляделся – да, точно.

В девять лет я оглохла после тяжёлой инфлюэнцы, и – подумать только – сколько лет минуло, ноги уже не держат, но порой слышу: соловей поёт. Чисто-чисто. Тишина – это глыба прозрачной воды, а пение, как вязкий сладкий сироп, томительной струйкой течёт вниз. Тает тихонько по пути на дно, разжижается. И опять затихло.

Вонтафон

*Ни одно изобретение не может
сразу стать совершенным.*

Цицерон Марк Туллий

Девочек с задатками изобретателей следует избегать. Или хотя бы не заводить с ними близость: тупо из инстинкта самосохранения.

Вот ты живёшь себе, беды не маешь, общаешься с девочкой. А девочка – высший пилотаж. Серьёзно, высший – потому и общаешься. Лицо, фигура, даже мозги при ней – и подаётся всё это без сиротских «зато». Типа: дура полная, зато за-а-адница... Или: с лица воду не пить, зато до-о-обрая. Не твой случай. Твой случай сидит с тобой в кафешке, кромсает красивыми зубами чебурек, щурит синие, зелёные глаза, ерошит засаленными пальцами волосы. Что там еще? Всё, что надо: губы, шея, запястья, грудь. Талия, жопа, ноги – эти под столом, но они тоже прекрасны. И гонит тебе эта приятная глазу девочка такое:

– Амстердам – суперский город! Я там придумала Вонтафон. Ну, по-английски want-a-phone; «хочу телефонный звонок», значица. Это такая бжня типа Очень Крутой Гаджет серии 1.

А ты млеешь от вольного бреда, и подыгрываешь ей, и спрашиваешь:

– А и на фуя же кому Вонтафон?

И она тоже млеет от твоей хорошей слушательской реакции и говорит:

– А и вот. Допустим, существует человек, который очень не любит звонить. Это фобия у него такая. – На слове «фобия» девочка выпучивает глаза и перекашивает крупный рот. Изображает ужас. Она любит изображать рожи, и ты это ценишь. – Входящие-то звонки еще ничо-о, даже прикольно почирикать с кем-то. Но самому набрать – ни-ни, мука смертная. Я это, между прочим, не из дупла взяла, это моя личная фобия, веришь? Страшно мучаюсь, когда надо позвонить. Короче, неразрешимая проблема. И тут. Человек. Получает...

– Вонтафон! – радостно орёшь ты.

– Па-бам! – радостно орёт она и разводит руки жестом фокусника. – Теперь смотри. Субъекту А сильно надо связаться с субъектом Бэ, но звонить сам он не желает. Тогда А включает свой Очень Крутой Гаджет и небрежным движением руки вводит в него номер сотового Бэ. Вонтафон связывается с тем мобильником и начинает через него транслировать сигналы – прямо в мозг Бэ! А мобильник Бэ никак внешне не реагирует, то есть фактически звонок от А к Бэ не поступает. Просто Бэ под незримым действием Вонтафона задумывается: чтой-то давненько я не звонил А. Всенепременно же стоит звякнуть. Прямо сейчас! Ну и звонит.

Девочка качается на пластиковом стуле и с торжеством говорит:

– Всё.

И ты её треплешь по плечу, хватаешь за руку, потому что она – девочка высший пилотаж и даже отчасти свой парень. Глядя на неё, краснеет чебуречный Гиви.

Ещё ты водишь девочку в кино. Она умная, но необразованная – так ты её образуешь. Придумываешь ей клички. Пишешь по интернету: онли юууу. Она без промедления отвечает: я блюю? А ты: кто здесь? А она: вечное твоё Аделаидо. Чехов и Книппер, мир вашему праху, вы тут вообще ни при чём. Не твой случай. Твой случай греет ледяной от мороза нос ладонью, пока ты говоришь:

– Ехать-то он ехал, но обороты не держал. Задолбало подгазовывать! Короче, глянул – а там тупо полетел выпускной клапан на левом котле...

– Котёл – это?

– Цилиндр. Ну, такая подолбень с рёбрами. Короче, мотик тянул в половину мощи. Заменял клапан, и что? Тяга появилась, а обороты на холостом опять не держит. Ну, поменял контактное зажигание на электронное. Два штукаря, прикинь?

– Прикидываю... – она вся внимание; так старухи внимают Геннадию Малахову. Малахов в телевизоре лечит мигрень помидоркой, а она тут слушает тебя приоткрытым милым ртом, круглыми глазами, удивлёнными бровями.

– Потом полетел коробас.

– Карабас-Барабас?! Да это просто праздник какой-то!

– Балда! Коробка же передач!

Востренький красный носик придаёт ей трогательности. Зверёк, игрушечка, кис-кис-кис... Залезай сюда, под одеялко.

И как-то так получается, что она предъявляет на тебя права, для разгону признавшись в вечной любви и прочем. То есть вот: начинает с обожания и оперативно переходит к следующим пунктам – то не делай, туда не ходи, надень чистую рубашку. Норовит забыть у тебя трусы и зубную щётку, причём, когда ты ей напоминаешь – кривится вместо благодарности. Ругает твоего бизнес-партнёра Надежду Абрамовну. Ей чхать на деловые качества Абрамовны, чхать на перспективы роста и развития – ей, извольте, рожа Абрамовны не нравится. Ни к селу ни к городу с пафосом вопрошает:

– Ты глумишься надо мною?

Обижается ни на что и в итоге уходит по сугробам, высоко ставя ноги, а ты следишь за ней с некоторым облегчением. Потому что она уже не высший пилотаж. Её психозы начали тебя доставать.

Казалось бы, вот и всё. Ушла, прихватив исподнее и многочисленные пощёлки – о чём тут ещё говорить. Ты и молчишь, но через неделю-другую сама собою приходит мысль: а не позвонить ли? Ты думаешь мысль раз, второй, третий. Маниакально так: позвонить? позвонить? Ну а мало ли: может, девочка себя неким образом преодолела, обошла и снова стала высший пилотаж.

И ты достаёшь телефон и начинаешь там листать по алфавиту, выискивая её номер. Потому что она, конечно, никакая не Аделаида и болтается где-то в конце списка. И тут. Ты. Вспоминаешь. Вонтафон!

Чем чёрт не шутит, думаешь ты. В кинематографе она полное безоговорочное бревно, но ведь не дура? Не дура: инженер унитазодробительного института. Про мотоцикл-то слушала – дай бог твоим друзьям так слушать. Чисто теоретически могла бы собрать эту, как её... бжню? Могла бы. Тупо чисто теоретически. Любовные позывы, не нашедшие отклика, то-сё, бараньи яйца: наковыряла там у себя в лаборатории всяких проводников, схемок, контакты нужные спаяла и сидит. Жмёт на кнопки Вонтафона, проникает к тебе в мозги.

Если ты ей сейчас наберёшь, вы помиритесь, а потом она придумает трусы «Верность» с микрочипом и регулятором желаний. Поделится идеей о низкочастотной насадке «Пора домой» (можно встроить в наручные часы). Примется рассуждать о возможностях нановышивки «Подари цветы любимой». А ты будешь жить и думать: она это уже реализовала или нет? это моё или её?

Так что из простой человеческой вредности (из тупого инстинкта самосохранения) ты удаляешь номер девочки. А потом меняешь сим-карту. Даже если и не было никакого Вонтафона.

Часть II. Чисто теоретически

Отметка в паспорте

-11 лет, 2 месяца, 5 дней-

Мише не спалось, и оттого в голову лезли разные тревожные мысли. С одной стороны, ему было стыдно страха перед понедельником, стыдно ёканья в животе, какое настигает на качелях, и он зло шептал – ну, разнюнился, малявка. И тут же обязательная часть каждой человеческой души вставала в оборонительную стойку: не испугался, а просто разнервничался, паспорт-то с отметкой не каждый день получаешь! И вообще, четырнадцать лет – это ни фига не взрослый; взрослые, известное дело, и черта лысого не боятся, но он же еще... мальчик? В этот момент приободрения подлое нутро снова ухало вниз, и Миша брел по замкнутому кругу кишечного неудобства и жалости к самому себе.

За ворочанием в волглых от бессонницы простынях его и застала мама.

– Спишь? – робко спросила она, неслышно прикрыв за собою дверь.

Миша хотел солидным басом ответить – фигли, конечно, сплю, но неожиданно даже для мамы пискнул:

– Не спится...

– Миленький ты мой, – мама в три шага пересекла комнату, села к нему на кровать. – Хочешь, я тебе молока с медом принесу?

Можно было, конечно, ответить маме чистую правду: молоко с медом суть редкостная дрянь, к тому же и бесполезная, но Миша сдержался – зачем человека обижать? Мимоходом пообещав себе, что в мамин последний год он будет пить все, что мама предложит, да еще и на скрипке ей играть, Миша сказал:

– Не, мам, ты лучше Расскажи мне еще раз... ну, про Нойзе, а?

Он сразу почувствовал замечательную мамину улыбку, какой даже темень вокруг была нипочем: эту улыбку необязательно видеть, ее просто чувствуешь, и все. Не заставляя себя уговаривать, мама с лету начала:

– Давным-давно, Мишенька, когда твои прабабушки и прадедушки еще пешком под стол ходили, биохимик Гарри Нойзе – он, кстати, изначально был Игорем Нойзиным, но во времена Кризисной Кварты перебрался в Америку и имя сменил – открыл ген смерти. Это было очень важное открытие, сам понимаешь: люди всегда задумывались о возможности

вечной жизни, и искали как раз таки панацею от гибели. Еще до Кризисной кварты некоторые ученые утверждали, что у каждого человека есть ген бессмертия, проблема только в том, что он ломается, что ли, и всех-то дел – найти его и заставить работать. Ну, это забытая теория, и подробностей я не помню; а все дело сводилось к тому, что люди вокруг упирались в идею вечной жизни, один только Нойзе искал ген смерти. И нашел...

Желудок Мишин утихомирился – какие его силы против уютного маминого голоса? Прерывающийся ее шепот всегда напоминал Мише ныряльщика: вот плывет под водой в шипящих и глухих согласных и вдруг – бац! – плеснула волна звонкого слова «ген», и голос, словно пловец, взвился над поверхностью и вновь ушел на дно: мама приглушила. Совсем как в детстве, когда Миша болел, а мама пела ему – пусть у кошки болит, у собачки болит... Здорово.

– У Нойзе было два образования: у нас он работал врачом для новорожденных, неонатологом, а в Америке переучился на биохимика. Так вот, еще здесь в роддоме он заметил в образцах крови только что родившихся детишек какую-то общую особенность, но в чем дело, понять не мог – и образования не хватало, и оборудования. А уже там, много лет спустя, продолжил свои исследования и выделил этот знаменитый ген. Нойзе первым догадался наблюдать генный состав у новорожденных, он же и открыл, что некоторые гены со временем как бы... закрываются, что ли. В общем, становятся недоступными для расшифровки и даже обнаружения. Я не специалист, я тебе попростому объясняю, как сама поняла. Не засыпашь?

– Мам, ты рассказывай дальше, – Миша нетерпеливо подбил подушку рукой и затих.

– Словом, в крови взрослых людей найти ген смерти до сих пор не выходит. Более того, даже у детей двух дней от роду расшифровка этого гена получается сильно приблизительной, плюс-минус пять лет или около того. Такая точность никому не интересна. В общем, Нойзе сумел организовать под это дело лабораторию, раздобыл как-то деньги и стал набирать базу данных. Кровь у младенцев сразу после рождения брали даже в те времена – правда, для других целей, вроде бы для контроля всяких заболеваний. Нойзе и его сотрудники часть каждого образца забирали себе. Выделяли ген, расшифровывали, писали результаты в специальный журнал. Первым делом Нойзе интересовали короткие сроки жизни: он уже немолодой был, а проверить свои догадки хотелось. Срок жизни первоначальная формула Нойзе позволяла вычислить с точностью

до месяца; теперь-то используют доработанный вариант Нойзе-Петрияки, с точностью до дня...

Мама зевнула одновременно с Мишей, и до того смешно вышло, что они расхохотались, изломав тем самым устоявшееся в темной комнате спокойствие бормотного разговора. А тут и отец подбавил, влез в комнату недоуменной мохнатой головой, осиянной сзади электрическим светом: вы чего разорались, ночь на дворе. Мишин отец был из простой семьи, и сам прост, как деньги, со своими народными присказками вроде «твое дело телячье: обосрался и стой». Из-за этого – а может, и потому, что жить отцу светило до глубокой старости – Миша относился к нему сложно, и в чувствах своих копать не спешил.

– Сейчас, мы уже заканчиваем, – Миша ревниво отметил виноватую нотку в мамином голосе. Отец скрылся за дверью.

– О чем я? А, ну да – теория Нойзе блестяще подтвердилась, а дальше уже сказка заканчивается и начинается политика. Как-то сразу решено было всем гражданам прописывать в паспорт рядом с датой рождения – дату смерти. Беспорядки, конечно, были. Но не очень сильные, никому особо на амбразуру бросаться не хотелось. Людям, кроме гена смерти, забот хватало: то, как говорится... кризис, то золотуха. Власти, они хитрые, быстро разгадали, что четкое определение жизненного срока скрывает немалые удобства: например, к чему бесплатно обучать специалиста, если у него всей-то жизни до двадцати лет отмеряно? Потом и здравоохранение присоединилось, и в рекордные, буквально, сроки, прошла победная кампания за здоровый образ жизни. Ведь если человек запрограммирован, к примеру, жить лет до восьмидесяти, то где гарантия, что он полжизни не проведет инвалидом? Поэтому долгожителям выгоднее отказаться от вредных привычек, верно? Сейчас если увидишь кого с сигаретой – сразу ясно, что он из короткоживущих, кому терять нечего. Коротких стали направлять на опасные работы – на реакторы или, ну, на военные действия. До определенного срока-то с ними все равно смерть не приключится, а если покалечит, так недолго и мучиться. В религии чуть не переворот произошел: раньше многие считали, что Бога нет, раз нет доказательств, но вот ген смерти – чем не доказательство? Ведь как можно объяснить, что так называемый «несчастный случай с летальным исходом» – это, Миш, древняя формулировка, устаревшая – связан с составом крови человека? По сути, нет никаких несчастных случаев,

а все очень даже определенно и ясно... И если человеку суждено умереть, допустим, пятого сентября этого года, то он...

– Этого года?! – подскочил Миша. Мама вздохнула, потерла руками лицо.

– Ну нетушки, не этого, я просто пример привела. Тут уж никуда не денешься, это «пятое число девятого месяца» у меня всегда в уме. А год еще не скоро наступит. Так что вот так, Мишенька. Заболтала я тебя, заснешь?

Миша подумал, что где уж теперь ему заснуть, после милой оговорочки про «этот год». И заснул.

-11 лет, 2 месяца, 4 дня-

В воскресенье снарядили ехать к бабушке, у которой пошел счет на последние шестьдесят дней: родители флонили, ссылаясь на собственную занятость. Это в выходной-то, а?! – врут, и не краснеют. Ну и пусть, Миша был не прочь навестить бабулю. Минувший после дедушкиных проводов год старушка жила одна и, похоже, махнула на все рукой и ударилась в разгул. Мама с отцом уже обсудили, что за месяц до известной даты перевезут ее к себе, для подробного и неспешного прощания, а пока только забежали через день по очереди.

В бабушкиной квартире, некогда даже чопорной, теперь правил хаос. Миша, коря себя за брезгливость, отнес какие-то грязные одежды в стиральную машину, выбросил подсохшие объедки с дюжины блюдец и тарелок, вымыл посуду и пол. Престарелая хозяйка тем временем храпела из глубокого кресла в алкогольном – судя по бутылке рядом – забытье. Реализовала, что и говорить, госльготы для уходящих.

Миша вспомнил, как из этого дома провожали дедушку: целую неделю они с родителями прожили здесь, и ему совершенно официально разрешили не ходить в школу, а родителям – на работу. Каждый день вся семья выезжала на пикник; вечером отправлялись в театр или долго чаевничали дома, разговаривая о прошедшей жизни и вспоминая все, даже самое незначительное... В последний день дедушка уже никуда не выходил, что и понятно: только дурак пойдет шататься по улицам в день смерти, когда и задавить могут, и кирпичом голову проломить. Охота была помирать в мучениях, исковерканному. Как принято, накануне вечером дед помылся, переоделся в подходящий костюм да и скрылся в спальне. О, вот еще из ужасного, допотопного: до открытия Нойзе люди умирали всегда неожиданно, и родственникам потом приходилось самолично

«обмывать» и «обряжать» мертвое тело... А если человек умирал вдали от близких? Мишу передернуло. И так, дедушка ушел в спальню, а остальные ночевали в других комнатах, и Мише было тепло и спокойно от душевного, немного печального, единства семьи. Один раз ему померещилось, будто из-за двери спальни доносятся звуки, похожие на закушенный подушкой плач – но на то и ночь, чтобы казалось всякое.

С бабушкой, наверное, так хорошо не получится. «С женщинами вечно проблемы возникают», – солидно подумал Миша и осекся: а мама?! Обозвал все это ненужной философией, надел на холодные бабушкины ноги носки и помчался на свежий воздух.

-11 лет, 2 месяца, 3 дня-

Несмотря на лето, народу в паспортный стол набилось немеряно: такое было чувство, что все четырнадцатилетние района решили озаботиться в этот день получением документов. Многие пришли с родителями. Миша встал в очередь за девочкой из параллельного класса – то ли Светой, то ли Мариной, – кивнувшей ему без приличествующей случаю нервозности. Очередь двигалась медленно: по летнему режиму работало только одно окно. Миша погрыз орешков, почитал унылые выдержки из законов, писанных загадочным нечеловеческим языком, и попробовал найти приятелей. От этой бесплодной суеты стало совсем скучно. В минувшую ночь спал он на зависть, так что теперь даже подремать не тянуло. Миша предложил орехов соседке и небрежно кинул:

– Волнуешься?

Девочка шевельнула плечами, словно отказываясь и от угощения, и от вопроса, но, подумав, сказала:

– С чего бы?

– Ну, не знаю... – смутился Миша и пояснил: – Многие из-за отметки дергаются.

Словом «многие» он как бы отделял себя от прочих, намекая: я-то нет, я в порядке.

– А я без отметки, – сказала «то ли Марина, то ли Света», и опять повела плечом – тик у нее, что ли?

– Ты из неопределенных?! – вырвалось у Миши скорее, чем он успел вернуться к наигранному равнодушию. – Фигасе...

– А что, – с царским презрением сказала девочка, – завидки берут, да? У нас в семье все без отметок, меня мама даже не с врачами родила, а на даче, сама.

– Фигасе... – повторил Миша и добавил: – Как же вы живете, а?

– Да уж получше вас, отмеченных. Мы – свободные люди, не то, что некоторые. Этот после отметки – в армию, этот – учиться на специалиста, все за вас решили. Даже перед тем, как жениться, в паспорт смотрят и торгуются: ой, нет, я за тебя не пойду, тебе умирать в сорок лет, а мне жить да жить! – передразнила непонятно кого девочка.

Мише показалось очень важным тут же переубедить ее, воспитанную в других традициях, хотя зачем: все равно ей уже поздно сдавать анализ на ген смерти. Он сказал:

– А знаешь, почему отметку выдают только вместе с паспортом? Ведь дети тоже иногда, ну, того... так почему бы типа с рождения ее не объявлять? Это чтоб мы почувствовали, что сами хотим знать, типа сделали выбор... Когда подаешь документы на паспорт, ты можешь отказаться от отметки, и ее тебе не проставят; только потом и работы нормальной хрен найдешь, и вообще будешь жить, как чеканутый – не зная, чего и когда ждать.

– Работу, положим, найдешь, – спокойно возразила девочка. – Художникам и всяким творческим людям документы нафиг не нужны. Дворником тоже возьмут, да мало ли.

– А если я врачом хочу быть? Вот получу сейчас паспорт, и с сентября пойду уже в спецкласс, потом в инст буду поступать...

– А если у тебя отметка до двадцати лет? Ляжешь дома водку пить, по госльготе?

– А если ты с матерью поругаешься, а когда из школы вернешься – а она умерла?

– Дурак!

– Сама дура!

Они практически синхронно отвернулись друг от друга, сложили руки на груди: закрылись. В Мише причудливо сплелись раздражение – от высказанного собеседницей вслух тайного его страха – и радость, что не успел вывалить, как на духу, противной девке сокровенное. Ту, другую, девочку звали Лейлой, и пусть прошло уже три года, но сам случай в морском лагере не оставлял Мише шансов запутаться, забыть хоть немного. Это тебе не приятно-нев्यразительная «Мариносвета», нет: Лейла была страшнее атомной войны. Толстая, со сросшимися мохнатыми бровями, с иксообразными ногами и вечной болячкой под носом, она вызывала у окружающих детей восхищенный ужас, в апогее достигавший безудержного веселья. Как дикари древности когда-то не могли пройти мимо своего идола, не потрогав его, так и курортная детвора не оставляла Лейлу без тычков, пинков и мелких знаков внимания, вроде медузы на загривок. Миша тоже не отставал, хотя, дойди дело до пересказа, он вряд ли нашел бы в себе силы в этом признаться. А

потом Лейла утонула: она и плавать-то толком не умела, бедняга. Остаток лета Мише снились кошмары, где он, по воле бесконтрольной памяти снова и снова говорил Лейле: «Свали, корова чмошная», снова делал ей подсечку и снова смеялся, глядя, как неуклюже она загребает по песку страшными своими ногами. Только вот во сне он знал о ее скорой гибели и хотел успеть перед ней извиниться, но тело не слушалось, и слова шли не те. После печального опыта Миша пристальнее взглянул на родных, чьи даты были ему известны. Отца, как явление долговременное, он с легкостью оставил «на потом», но мама, мама... Впрочем, с того самого лета он и не огорчал ее, кажется, ни разу, уж по крайней мере – серьезно не огорчал.

Из покаянных мыслей Мишу выбил чей-то плач. Он поднял глаза и успел заметить, как женщина с перекошенным лицом тащила к выходу рыдающего парня, обхватив его руками. Лицом тот вжимался в плечо тетки и оттого неловко семенил боком, поспевая за ней. Вроде бы незнакомый...

Очередь стремительно таяла, будто паспортистка решила, наконец, выложиться из последних сил в преддверии обеда. Вот уже и Мишина недавняя собеседница подобралась к окошку: пойдет следующей.

Миша суетливо (почему-то казалось – напоследок) перебирал невыясненные вопросы. А если, к примеру, человека, которому жить еще пятьдесят лет, связать и выстрелить ему прямо в сердце, что будет? Маньяков, вроде бы, давно нет – это если судить по газетам, – а так ли на самом деле? И, опять же, если до отмеренного срока взять и прыгнуть вниз с небоскреба – умрешь или останешься жить инвалидом?

– Мальчик, твоя очередь, – подтолкнул его мужчина, стоявший следом за ним в компании хмурого подростка в брекетах. Миша вскочил.

Он подошел к окошку, пригнулся (что за глупое устройство всех казенных окошек на свете? можно же сделать с той стороны пол повыше – и сидящей в окошке тетке удобно, и тебе не отключиваться) и назвал себя. Паспортистка нажала несколько кнопок на терминале, попищала сканером и выдала новенький, туго открывающийся паспорт. Миша, давясь неожиданно загустевшим воздухом, расписался здесь и здесь, дал отпечаток большого пальца и – провал – обнаружил себя на улице.

Паспорт, только что рожденный машиной, ждал в его руках. Сейчас, если потянуть обложку, страницы разойдутся с неохотным потрескиванием, словно стесняясь скудной пока еще информации – ну, фотография, ну, две даты, а чего вы хотите от человека в

четырнадцать лет? Миша вспомнил, что люди, которым известна своя скорая смерть, уверяют о необыкновенном вкусе даже привычного воздуха. Он потянул носом: пахло городским летом; на недалекой мусорке, определенно, докисали останки арбуза.

– А вот не буду смотреть, – заявил Миша купающимся в пыли воробьям. – Дома посмотрю, с мамой.

Сын Жестоккого Огня

– Извините, а почему у гастроэнтеролога заперто?

В пустынном холле поликлиники голос Петра прозвучал вызывающе громко. Акустика вечернего времени, куда деваться. Тетка за стеклом регистратуры приподняла брови:

– У нас врачи принимают до восьми.

Петр демонстративно посмотрел на свои часы:

– Ну и?

– Ну и все, – отрезала тетка и махнула рукой на настенный циферблат.

Черт. Вчера же часы переводили, чего отпускной Петр предпочел не заметить – роскошь неработающего и, следовательно, счастливого человека. Желудок скрутило новой жаркой волной боли.

– А завтра у него прием будет? – сглотнув горькую слюну, спросил Петр.

– С утра, до двенадцати.

Итак, вместо того, чтобы валяться до обеда в постели, как и положено любой уважающей себя сове-в-отпуске, он опять потащится в эту юдоль скорби. А не идти нельзя, проклятый гастрит день ото дня разгорается все сильнее, уже никакие маалоксы не помогают... И вообще, может, там теперь язва – кому это понравится, в тридцать четыре-то года?

Петр вышел на крыльцо и остановился, нашаривая в карманах сигареты.

– Жестокий огонь приветствует своего сына, – произнес чей-то тихий голос.

Справа от входа стоял мальчишка лет десяти-одиннадцати, одетый в непомерно большие для него пиджак и брюки. Последние были столь велики, что пацан намотал их у пояса на кулак.

– Это ты мне? – спросил Петр и закурил. Дым сигареты отчего-то приносил облегчение раскаленному нутру.

– Тебе, Сын Жестокого Огня, – мальчик выделил голосом простые с виду слова, придавая им некий смысл.

– Ну-ну, – вздохнул Петр. – Дурдом.

Мальчик порывисто шагнул к нему и заговорил:

– Постарайся выслушать меня, не перебивая, ибо минимум, чего я заслуживаю получить от тебя – уважение. Я – Жестокий Огонь, отец всех драконов нашего – твоего и моего – мира. Некоторое время назад, по здешним меркам весьма давно, драконы проиграли бой светоносцам. Я был вынужден бежать, бежать с позором, который едва не превратил мое Пламя в горстку серого пепла. Наш мир продолжал порождать драконов, подобно тому, как здешний мирок родит никчемное золото, но теперь светоносцы находили беззащитные кладки. О, они остаются верны фальшивой идее добра и не убивают несозревших. Их план куда изощренней и мерзостней, да!

Психанутый пацан перевел дух. Левой рукой он вцепился в пояс брюк, словно хотел разодрать его, пальцы свободной правой руки подергивались. Петр бросил окурок в урну, не попал и быстрым шагом двинулся к трамвайной остановке. Дурдомовец поспешил следом.

– Ибо они изыскивают кладки и переселяют нерожденных драконов сюда, за тысячу измерений, в тела ничтожеств, именующих себя людьми! Вас легко найти среди прочих, дети Жестокого Огня! Вы с ранних лет мучаетесь тем, что местные шарлатаны называют гастритом и язвой, не зная, что это суть дракона подает знак! Кислоту и огонь не спрятать в человеческой оболочке!

– Прекрати орать, – Петр начал нервничать. Конечно, это еще ребенок, но ведь ходит слух, что психи во время приступов становятся вдесятеро сильнее... С другой стороны, не стоит исключать вероятности, что мальчик просто шутит. Родной сын Петра пару лет назад, до их с Танькой развода, очень увлекался ролевыми играми. Меч из ДСП они вместе клеили...

– Ты прав, мне необходимо успокоиться, – рассудительно сказал мальчик. – Однако сложно сдерживать ненависть теперь, когда победа столь близка.

Играет? Что-то уж больно изысканно выражается для завравшегося малолетки.

– Недаром прошло мое время в изгнании и одиночестве. Я сумел раскрыть секрет хитроумных светоносцев, и не только нашел, куда они отправляют драконов, но и знаю теперь, как вернуть своим детям изначальный облик. Мы вместе отправимся на родину и отомстим за тех, кто так и не узнал правды, проведя жалкую короткую жизнь в немощных телах.

– Здорово придумано, – похвалил Петр, чтобы порадовать несчастного, и задушевно продолжил: – а теперь мне пора. Всего тебе наилучшего.

– Ты не веришь мне? – голос мальчика стал ниже на несколько октав. Такие голоса можно услышать у исполнителей самых низких вокальных партий в опере. Такие голоса сын Петра называл «жирными». Словом, из уст ребенка подобное рычание звучало и жутковато, и смешно. – Посмотри мне в глаза! – пророкотал мальчик.

Петр пригляделся и вздрогнул: зрачки у поганца были горизонтальными, как у козы.

– Ну ты, блин, даешь! – уже искренне восхитился Петр. – Я недавно сына поведать ездил, он мне дверь открывает, и я думаю – всё! У сына один глаз абсолютно белый, ни тебе зрачка, ничего. Не бойся, пап, говорит он мне, это просто бельмо, ничего страшного. Я чуть не умер, пока не выяснил – цветная линза.

– Так ты отказываешься от своей сути и родины? – с презрением, хоть и обычным голосом, спросил мальчик.

Петр почуял, что интерес к его персоне падает, а, стало быть, он на верном пути, и подтвердил:

– Отказываюсь.

– За предательство тебя следует умертвить на месте, – это прозвучало сухо, словно информационная справка. Мальчик немного подумал: – Впрочем, тебе же будет хуже, если сейчас этого не сделать. – И, уходя, добавил совсем уже странное: – Драконов ведь нужно где-то тренировать?

Петр поглядел вслед детской фигурке и отправился в аптеку, за очередной порцией – ха-ха – драконьего огнетушителя.

Ночью Петру приснился Жестокий Огонь. Огромный, страшный, он был, вот чудеса, до боли в сердце родным. Они разговаривали, и дракон отвечал урчащим басом, но без давешних литературных изысков.

– Почему пацан, почему пацан! – передразнивал Петра Жестокий Огонь. – По кочану. Ясное дело, что к образу старикана доверия больше, я ж не тупой – понимаю. Просто

старое тело меня б не выдержало. У меня, блин, отрыжка огневая каждые полчаса, желудок распадается со страшной скоростью. А чему там у стариков распадаться? Каждый час пришлось бы тело менять. Мальчишка еще с неделю протянет, мне хватит.

– Но... люди с язвой, я слышал, живут как-то до старости, и ничего, – Петр не желал сдавать позиций.

– Сравнил задницу с пальцем. Вас же светоносцы в людские тела загоняли, предварительно лишив памяти и всех магических свойств. Пользуясь местечковыми терминами, только гены ваши заблокировать не могли – отсюда и избыток кислоты в организме, хе. А я со всем скарбом, так сказать, перенесся, всего и сменил только, что оболочку. Это ж понимать надо!

Петр глядел в серебряные с горизонтальными зрачками глаза Жестокое Огня и начинал потихоньку понимать.

Он проснулся расстроенный и какой-то особенно одинокий. Доедая «полезительное для брюха» варево из овсянки, Петр признался себе, что (наверно) зря принял вчерашнего мальчика за ненормального и (возможно) упустил уникальный (не исключено) шанс. Ну что ему стоило просто ответить – ну, дракон так дракон, жестокий так жестокий, валяя превращая меня? Ответить и посмотреть, что будет дальше... Боялся оказаться в дураках?

Петр хлопнул входной дверью и поехал к гастроэнтерологу.

Вскоре память о странной встрече ослабла, и сожаление о несделанном почти не донимало Петра. Тем более что врач прописал ему кучу всяких исследований, а это в бесплатной поликлинике подразумевает полную и ежедневную занятость. Дни сменялись ночами, анализы в баночках – анализами в коробочках. Жизнь вошла в новую колею.

Петр резко открыл глаза, посмотрел время на мобильнике. Полтретьего ночи. От сделанной утром гастроскопии саднило горло, но идти на кухню пить было лень. Он немного полежал, пытаясь снова заснуть; не получилось. Нашарил рядом с кроватью пульт, включил телевизор. Каналы – все до единого – равнодушно мельтешили серыми точками.

Беспокойство Петра усиливалось, заболел и желудок, не донимавший его после встречи с врачом. Петр лег на правый бок, на левый, зацепился взглядом за книжную полку и машинально стал рассматривать надписи на корешках.

«Что б такого нудного почитать, для усыпления?» – вяло подумал он и едва не подскочил: вот она, причина тревоги! Слишком светло для ночи, так светло, что он видит

вытертые буквы на обложках книг, потому и мысль про «почитать» пришла легко и естественно. Свет в комнате прибывал с каждой минутой, уже и плотные шторы стали просвечивать, прикидываясь сетчатым тюлем. Петр пробормотал: «Драконов надо где-то тренировать» и подошел к окну.

Ночное небо горело бледно-алым. Темными силуэтами по нему скользили сотни живых крылатых теней, то взмывая вверх, то устремляясь к пылающим домам.

Дашенция и дедушкин

Десять ступенек.

Я, Ковалько Николай Михайлович, шестидесяти двух лет от роду, умер в среду.

Девять.

Но только сейчас, несколько дней спустя, меня не станет.

Восемь.

Неделей ранее я сидел в кабинете у заводского терапевта и, по совместительству, моего приятеля. Алеша листал медицинскую карту: отличный повод не смотреть в глаза собеседнику.

– Не нравится мне, Михалыч, эта картина, – сказал он наконец и сморщился. – Сердце часто беспокоит?

– Бывает. Ты, Сергеич, не крутись, как уж на сковородке. Чего там?

– Да пока ничего. Но к кардиологу надо. – Алексей соизволил поднять на меня взгляд. – Запишись немедленно, сегодня же иди и запишись. И отпуск возьми, пока результатов обследования не получишь.

– Да я и так собираюсь. С завтрашнего дня уйду на неделю в загул, буду с Дашенцией сидеть.

Алексей улыбнулся:

– Сколько ей?

– Три с полтиной стукнуло.

– Взрослая дама! Ты смотри, тебе напрягаться-то нельзя, в догонялки с ней не играй.

А дочка твоя чего?

– Она с мужем на конференцию в Стамбул летит. На четыре дня. Там какие-то льготные условия для сопровождающих, вот меня и попросили с Дашкой сидеть – а я

только рад, чего греха таить. Наталье ответил – езжай, не волнуйся. Молодые они еще, все бы им по миру мотаться... Ладно, Сергеич, пойду, мне еще в бухгалтерию успеть надо.

– Бывай. И, это... хоть нитроглицерина купи. Пока к кардиологу будешь собираться.

Я улыбнулся, закрывая за собой дверь кабинета. Знает он меня, шельма Алексей Сергеевич! «Пока будешь собираться». Ладно, дети вернутся из поездки, обязательно соберусь. А сейчас и нитроглицерина будет достаточно.

В назначенный день я приехал к Наталье и Виктору. В квартире стоял дым коромыслом – как обычно у молодежи, устраивающей сборы непосредственно перед отъездом. Кутерьму усиливала Дашенция, возбужденно носившаяся между вываленных на всеобщее обозрение гор одежды и раскрытых чемоданов.

– Дедушкин! – взвизгнула маленькая разбойница и повисла у меня на шее, пока я развязывал шнурки. – А я правда в садик ходить не буду?

– Дашка, прекрати, ты дедушку сейчас уронишь, привет, пап, – скороговоркой выпалила всклокоченная Наталья. – Ты ее не слушай, – это было адресовано мне. – Все дети ходят в садик, – это Даше. – Витька, пену для бритья не забудь! – а это, соответственно, мужу.

Когда моя доченька на взводе, с ней лучше не вступать в дискуссии: эта истина была очевидна не только двум взрослым мужикам, но даже и трехлетней малышке. Поэтому следующие сорок минут тишина нарушалась лишь репликами, относящимися к делу.

«Голубое или синее? Черт, возьму оба!»

«Ты паспорта и билеты проверила?»

«Ма, хочу турецкие бусики!»

«Ты что, собралась в этой лапсердайке ехать? В Стамбуле зимой холодно»

«Все, таксист уже внизу, присядем на дорожку»

И, наконец, мы с Дашенцией остались одни – в опустевшей и оттого немножко гулкой квартире. На полу валялись несколько пустых целлофановых пакетов и какие-то старые чеки в окружении потревоженных клочьев пыли.

– Будем убирать? – нарочито бодро предложил я, чувствуя, что у внучки глаза на мокром месте. – Кто у нас будет Электрическим Веником?

– Я! – завопила маленькая разбойница, позабыв печалиться.

– Тогда я буду Мокрой Тряпкой.

– Дедушкин, ты будешь Губка Боб, – уточнила Дашенция, и я согласился, хотя и не понял, о ком речь.

Остаток времени до вечера пролетел в делах: сначала уборка, потом внучка учила меня играть «в домик», потом я учил ее играть в лото, потом мы все-таки поели, потом позвонила Наталья (долетели без проблем), а потом Даша заснула прямо на диване, за просмотром извечной передачи «Спокойной ночи, малыши». Умаялась, маленькая – про дневной тихий час я и позабыл.

Утром в среду я проснулся оттого, что Дашенция, забравшись на кровать, осторожно тянула меня за уши и шептала:

– Уже утро, дедушкин, уже снег идет, пойдем тоже...

– В садик? – предположил я, разлепляя глаза.

– Ох, дедушкин, я болею, мне в садик нельзя, – очень грустно ответила она.

О-па, вот так поворот! Сонливость как рукой сняло. Я потрогал внучкин лобик – прохладный, нежный.

– А куда можно? К врачу? – чувствуя себя дураком, спросил я.

– В цирк можно. В цирке я точно вылечусь.

Мне стало весело. В самом деле, ну его, этот садик, что в нем ребенок не видел. И мы отправились в цирк.

В антракте меня настиг первый приступ. Сердце будто сжала огромная ладонь, утыканная иглами; от боли помутилось в глазах. Кое-как я нашарил в кармане брюк пузырек с нитроглицерином и непослушной рукой положил таблетку под язык. Дашенция, бегавшая в это время по вестибюлю, заметила неладное и – удивительное дело – сама предложила пойти домой.

– Там же клоуны еще будут, – прокрихтел я, пытаюсь выглядеть здоровым и обещая себе сразу же, как вернется Наталья, пойти в кардиологию.

– Не надо клоуны, – отрезало дитя. – Пойдем отсюда, дедушкин.

Теперь-то я понимаю, что разумнее было бы отсидеться в зрительском кресле, а не тащиться куда-то, едва переживая боль. Но в тот момент специфический запах арены, мигание прожекторов и громкая бравурная музыка внушали мне отвращение.

На морозном воздухе я быстро пришел в себя, а вот Дашенция, напротив, скисла. Увидев, что дедушкин вполне здоров, она пожалела о своем недавнем великодушии и

теперь утрюмо плелась рядом, время от времени пиная ледышки. Мы проходили мимо универмага. У меня просто не оставалось выбора.

– Пойдем, купим тебе что-нибудь, – небрежно кивнул я головой на вход. Внучка просияла.

– Саблю купим! И свадебное платье!

– За кого это ты замуж собралась?

– Ни за кого, просто замуж и все. Пойдем!

Домой мы вернулись с деревянной саблей и детским банным халатиком. Дашенция тут же нарядилась в желтую махру, и, размахивая саблей, стала изображать русского солдата. Я прятал улыбку, наблюдая за ее ужимками, и думал, что все еще, похоже, обойдется.

А ночью я проснулся от невыносимой боли. Я чувствовал себя бабочкой, припиленной иглой коллекционера к подушке; бабочка трепетала, извивалась и дергалась, и я понял – не бабочка, нет, это сердце, мое собственное сердце дрожит, пытаюсь вырваться из-под острия, и не может. Потом боль ушла, а я умер.

Как ни странно, в момент смерти «вся моя прошлая жизнь» не пронеслась у меня перед глазами. Зато возникли картинки из жизни будущей и не моей. Я видел, как утром Дашенция забирается ко мне в кровать и находит – чего уж миндальничать – холодный труп. Как она пугается, плачет. Как не может выйти из квартиры (замки слишком сложные и тугие для трехлетки). Как сидит без еды (даже хлеб в этом доме запрятан на недостижимой высоте), а до возвращения родителей ждать три дня. Одиноким ребенком и медленно разлагающееся тело...

Нельзя. Просто невозможно. Я, Ковалько Николай Михайлович, не должен этого допустить. Но... как?

Я медленно, очень медленно встал. Вдохновленный успехом, даже решил, что мне приснился дурной сон, и пощупал пульс. Его не было. Пошел в ванную, прислонился полуоткрытыми губами к зеркалу и застыл на несколько минут. Ничего, ни малейших признаков дыхания. Каждый жест давался с невероятным трудом, суставы потихоньку окоченевали. Мне хотелось воспользоваться единственной привилегией мертвого – лечь и застыть. Но «нельзя» пульсировало... уж не знаю где; вряд ли в мозгу, лишенном кровоснабжения.

Позвать соседей? Пару тихих алкашей справа, или пронырливую Марию Борисовну, гэбистку на пенсии, слева? Снизу квартира пустует, сверху сменяют друг друга арендаторы. Нет, вряд ли кто-то обидит Дашенцию, но жить у чужих людей... Да и Викторову заначку (он банкам не доверяет) точно утащат.

Позвонить дочери? И что сказать – Наталья, я умер? Умираю? Бред. Напугать напугаю, а вдруг она билет обменять не сможет. Сойдет с ума от ужаса в своей Турции.

Желание прилечь глушило все остальные тревоги. Но я скрипуче сказал:

– Значит, будем справляться сами, – и начал ходить по кухне и коридору, разрабатывая конечности, не давая им застыть.

К моменту Дашиного пробуждения я понял, что мертвые не устают со временем: они усталые изначально. Сонный ребенок поплелся в ванную, а я негнуцимися пальцами достал из холодильника яйца для омлета. Когда Даша пришла на кухню, болтушка уже весело скворчала на огне.

– Дедушкин болеет?

– Нет, – ответил я, и это была правда.

– А давай в садик не пойдём?

С одной стороны, логичнее было бы сдать ребенка государству. Но я боялся, что в отсутствии стимула режущее «нельзя», заметное периферийным зрением, угаснет, и я, хм, упокоюсь. А Дашка окажется не пойми у кого до приезда родителей. Поэтому я ответил:

– Давай.

– Уррря! А давай ты мне купишь за это железную дорогу? Я буду в нее играть и к тебе не приставать.

Даже мертвого умилила детская предприимчивость. Я кивнул и отправил в рот кусок омлета. С тем же успехом я мог бы положить омлет в, скажем, ящик комода. Кто знает, что чувствует комод с вложенной в него едой? Уж я-то точно ничего не ощутил. Отвернувшись к окну, я старательно пытался сглотнуть кусок, но из-за отсутствия слюны эта дрянь, сдается, пошла не в то горло. Живой человек сейчас скончался бы от удушья, а я – вот и преимущество – налил большой стакан воды и запил. Омлет уплыл в желудок. Дальше-то что? На всякий случай, я решил прекратить эксперименты с едой.

Когда живешь с маленьким ребенком, часы пролетают за секунду. Даже если ты неживой. После завтрака я загрузил стиральную машину и сварил суп. Поджарка при этом у меня сгорела почти до углей: нюха, как и многого другого, я лишился ночью. Но

Дашенция, воздевая обещанную железную дорогу, съела все без претензий, и без привычных капризов приняла новость о тихом часе.

– Вот посплю теперь, и пойдем за паровозиком с дедулькиным, – пробормотала она и вдруг спросила:

– Ты замерз? У тебя такие руки холодные...

Внучка заснула, а я долго держал руки под горячей водой из крана. В какой-то момент даже показалось, что кожа на них порозовела... Всего лишь показалось.

К вечеру я почувствовал, как из суставов уходит ставшая привычной жесткость. Подумал, что постоянное движение пошло на пользу, а потом вспомнил (вот вам и польза от чтения детективов), что трупное окоченение через некоторое время сменяется вялостью. Там и до разложения недалеко; но как я пойму, что начал разлагаться? Когда куски тела начнут отваливаться? Запах-то я не смогу почувствовать. Вспомнился утрешний омлет – как он там, без рабочей системы пищеварения, себя чувствует... На случай запаха я прополоскал рот изрядной порцией одеколона, и даже немного отхлебнул.

Наигравшаяся в железную дорогу внучка, мое солнышко в желтом махровом халате и с игрушечной саблей в руках, забралась ко мне на колени.

– Дедушкин, давай теперь читать!

Если бы я мог, я бы вздохнул.

Ночь я провел на балконе с бутылкой виски из бара Виктора, пытаюсь хоть таким немудреным способом – холодом и спиртовой консервацией – приостановить процесс самораспада.

Предпоследний день перед возвращением дочери и зятя прошел, словно в тумане, из-за постоянной борьбы со слабостью в ногах. Запомнилось то, что Дашенция много смеялась – кажется, я справлялся со своей задачей – а вечером, уже в кроватке, наморщила нос и капризно сказала:

– Дедушкин, от твоего деколона вся квартира пахнет.

– Извини, – смиренно ответил я, – мне просто нравится этот запах. Хочешь, проветрим?

– Ага, – она помолчала и вдруг порывисто села и обняла меня. – Все равно, ты у меня самый лучший.

Мертвые, конечно, не плачут.

Рано утром я едва смог подняться из своего сугроба на балконе: мышцы ног стали мягкие, словно резиновые. Руки, впрочем, тоже никуда не годились, да и рот удобнее всего было держать открытым. Мне оставалось продержаться один день.

В темноте я прошаркал на кухню, открыл холодильник. Так и есть – молока для Дашиного завтрака не было. Хлеб тоже подошел к концу. Внучка проспит еще часа два, и я решил сходить в соседний круглосуточный магазин. Обмотал шею огромным шарфом, который неожиданным образом послужил и удобной подставкой для подбородка. Вялыми руками стянул с вешалки пальто, уронил. Впрочем, без разницы – замерзнуть мне все равно не суждено. Не забывая держаться за стены и косяки, я вышел из квартиры и спустился вниз.

Я успел дойти до соседнего подъезда, когда к нашему вдруг подкатило, сияя фарами в сумраке зимнего утра, такси. Почти не удивляясь, что они вернулись на день раньше, я прислонился спиной к могучему стволу тополя и наблюдал, как Виктор расплачивается с водителем, как Наталья вытаскивает сумку из багажника. Ее тихий голос неожиданно четко звучал в морозном пространстве:

– Господи, Вить, да оставь ты эту сдачу! Пойдем быстрее, я же чувствую, что-то случилось, я знаю!

Такси взвизгнуло шинами и исчезло в подворотне, а я побрел назад, домой. Жизненные – или смертельные, не знаю – силы стремительно покидали меня.

Дверь в квартиру, как я и ожидал, была не закрыта. Вот молодежь... Я услышал голоса:

– Дашенька, доченька, слава Богу, ты в порядке!

– Ната, ну успокойся, видишь, она спать хочет, чего ты ребенка трясешь? Иди на ручки к папе, малыш, я тебя в кроватку положу.

– А где дедушка, Даша? Дашусь, где дедуля?

И, в ответ, недовольное внучкино:

– Дедушкин спит, и я хочу поспать...

Почему же не хочется, чтобы мое тело валялось, как бесхозная вещь, на полу? Нужно подняться по ступенькам до лестничного пролета, где стоит стул для местных курильщиков. Там я сяду и, наконец, прекращу... прекращу – что?

Шесть ступенек.

Пять. Четыре...

Девочки: Машина верба

Пасха в этом году ожидалась ранняя.

В сырое субботнее утро меня занесло на окраину города в старый район, до сих пор обойденный вниманием властей. По разбитому асфальту, оступаясь в лужах, я не без труда нашла нужный дом.

Здесь, согласно объявлению, продавалась вожаделенная зеркалка – подержанная, но, судя по описанию, вполне приличная. Хотя с тем же успехом я могла ехать за охотничьими сибирскими унтами или набором для игры в дартс. Мне было все равно, что покупать; еще повезло, что на ум пришел фотоаппарат. У него, в отличие от сибирских унт, есть перспектива пригодиться в столичной жизни. Мой бывший муж говорил «у этого человека есть перспектива». Или – «у этого человека перспективы нет». Как у меня, например, и у нашего сына. Справедливости ради стоит заметить, что муж вообще все в жизни оценивал с точки зрения перспективы. Хотя, к чему это я, в прошедшем-то времени? Он, кажется, жив до сих пор, благоденствует в деревне и продолжает изобретать перспективные штуковины. А я уже двенадцать лет мать-одиночка и активно использую его лексикон.

Людей вокруг встречалось немного: все-таки погода никудышная; большинство из прохожих несли вербу – бережно в руках или базарным пучком в авоське. У меня вербы не было: разве богу, существу он где-нибудь, могли быть интересны эти веточки в руках унылых граждан? У меня и бога не было – только сын-наркоман и куча нерешенных проблем. И я шла покупать б/у зеркалку, мечтая сфотографировать всю безысходность и отправить фотографии далеко-далеко. Допустим, несуществующему богу.

Домофон выглядел моложе самого дома лет примерно на пятьдесят. Таких домов полно по всей стране, но в Москве их почти не осталось. Пятиэтажки без лифта, с полуметровыми площадками перед квартирами, с человеконенавистнической планировкой, продуманной до мелочей. Кухня – полтора на полтора, проходная, прости-господи, «зала»... И балкон, смахивающий на лилипутский гробик.

В квартире на домофонные трели никто не отзывался. Железная дверь подъезда, перекрывающая доступ к относительно теплу и придуманной цели, нагнала с каждой секундой. Как и любое ничтожество в нашей жизни, она мстила мне за небрежение первых

мгновений, за то, что я сразу не удостоила ее почтительным взглядом, а тарасилась только в бумажку с номером квартиры и на кнопки домофона.

Позвонить на телефон я не могла: мобильный украл сын пару дней назад... Нет, правильное будет сказать – взял. Просто забыл вернуть.

Я отвернулась от входа и увидела его – могучий куст вербы. Он рос рядом с подъездом возле обязательной лавочки, любезной сердцам всех российских старушек; старушка, кстати, тоже наличествовала, несмотря на неподходящую для посиделок апрельскую погоду.

– Верба, верба, – радостно закивала она, подметив мой интерес. Интерес в целом был своеобразный: я не ботаник, просто у бывшего мужа созвучная фамилия... такая красивая нерусская фамилия, что, будь я поэтессой, оставила бы себе после развода. «Сгинь от меня, Верб», – пытаясь сохранить здоровый цинизм, подумала я и улыбнулась старушке в ответ. Она казалась на удивление приветливой: я и забыла, что существуют нормальные человеческие пенсионерки. К нам в регистратуру они приходят агрессивнее нильских крокодилов, любой разговор начинают визгливым скандалом и все, как одна, кажутся подопечными участкового психиатра Льва Петровича.

Я подошла ближе. Красная кора, серебристый мех: без сомнений, это была верба. Небо скупое цедило свет сквозь серую многослойную марлю облаков, но даже в этом нищенском освещении куст, казалось, отбрасывал блики на обшарпанный мир.

– Да, вот уж чудо, – сказала я; отвечать всегда проще, чем начинать. – Я еще не видела в Москве растущую вербу.

– Это Машина верба, – старушка со значением посмотрела на меня и поерзала по скамейке, как бы освобождая место, какого и так было предостаточно. И тут я вернулась мыслями к своей неудавшейся покупке.

– Простите, а вы, случайно, не из этого подъезда? Не знаете Наталью Борисовну из двадцатой квартиры? Мы с ней договаривались, но никто не открывает...

– Так я видела, она недавно в сторону рынка пошла. Вернется, поди, скоро.

Дешевая зеркалка лишала меня выбора. Внутренне содрогнувшись, я устроилась на ледяной скамейке боком, стараясь задействовать только половину сидища. Иллюзия наполовину теплой задницы, в то время, как другая половина замерзла по-настоящему: уж не это ли компактная модель человеческой жизни?

– А почему – Машина? – спросила я, трогая указательным пальцем с обгрызенным ногтем пушистые – почки, соцветия? – куста. Хотя и так ясно. Какая-нибудь пионерка Мария посадила.

– Так ее Маша посадила, – не разочаровала меня старушка.

Ну, блин, день откровений. Даже жаль, что муж ушел от меня всего лишь к науке, а не к какой-нибудь Маше. Сейчас могла бы поразиться разворотам жизни: тут Машин Верб, там – Машина верба. «Ладно, не ёрничай, бабулька вроде бы адекватная», – приструнила я себя и построила на лице внимание. Ждать-то предстояло неизвестно сколько.

Старушка моргала так медленно, что я ощущала подробности процесса: теплые веки надвигаются на стеклянистое тело, секунду согревают его и вновь уходят вверх. Свет – полутень – тьма, и так по кругу.

– Старый дом, правда? Его в пятьдесят третьем заселили, зимой. Вы, конечно, не можете знать, но в те времена отдельная квартира была... счастьем, настоящим счастьем...

– Вряд ли с тех пор многое изменилось, – пожала я плечами.

– Не знаю. Я о теперешней жизни ничего не знаю, – старушка улыбалась так, будто просила прощения (за что?). – В этом доме жила Маша, ее мужу здесь дали квартиру. Он, знаете, был селекционером, развивал сельское хозяйство. Или внедрял? Ах, не помню... Хорошо они жили, да вот только Бог им детушек не дал. Может, рассудил, что квартиры будет достаточно...

Щеки моей собеседницы покрылись тонким румянцем:

– Милая, вы уж простите, что я вас так называю, но это у нынешней молодежи все халям-балам, все так просто! Сначала двадцать аборт с поощрения государства, потом дети из пробирки. Или так: смолоду карьера, а под старость – опять искусственное это... – старушка запнулась, а я с удивлением подумала, что она себе на уме. То, видите ли, жизни современной не знает, то тут тебе на, какие подробности! – ...оплодотворение, как у коров. А полвека назад другие времена были. Планирования семьи и знать не знали. Надеялись на себя, на чудо...

– Ну, с тех пор уже сто раз доказали, что чудес не бывает.

– А вы послушайте дальше. Родила Маша-то дочку! Ей уже сильно за тридцать было, но родила. И стали они с мужем совсем счастливыми людьми на долгих два года. А потом девочка... – рассказчица прикрыла глаза, очень типично, по-старчески пожевала губами, –

...девочка заболела. По тем временам, опять же, неизлечимо. Сейчас-то были б деньги – многое решить можно, если не всё, правда, милая?

История вырливалась на опасную тему потерянных детей. Мне стало как-то неудобно дышать, но старушонка молчала и откровенно дожидалась комментария.

– Нет, – с усилием сказала я, – всё по-прежнему решить не получится.

– Вам видней, милая. Так, значит, подержали Машу с дочкой в больнице до начала лета, какую могли терапию провели да и выписали домой. Доживать. А пока их дома не было, веточки вербы, что с Пасхи в банке стояли, корни пустили. Вы удивляетесь? Да-да, к Вербному воскресенью многие и в те времена вербу дома ставили. Не так, чтобы напоказ, но ставили. И яйца красили, и всё, что надо, делали. Помню, мужчины тогдашние обычно кривились, мракобесием ругали, но пасхальными куличами разговеться любили. Обходились, конечно, без поста – партийные люди. Сейчас, что, разве все постятся? А разговеться не брезгают, вот и тогда так же. Ну да ладно, Бог им судья – хотя нужно ли Богу следить за людской едой?

Мелькнула мысль, что я, кажется, о чем-то подобном рассуждала на усеянном колдобинами пути к этому разговору. Старушка продолжала, теперь тише и намного быстрее: так человек, решившийся, наконец, пройти трудный участок, переходит с шага на бег.

– И вот Маша, а у нее горе, бессонница, перемыла весь дом, перебрала все вещи, – милая, чем угодно займешься, только бы отвлечься – и, когда дел не осталось, достала из банки эти ветки с подсохшими корешками. Воды-то за много месяцев осталось едва в половину, понимаете? Вот корни и подсохли. Взяла в одну руку дочку, в другую – дочкин совочек и вербу и вышла во двор. Сажать. Вечером муж ее не узнал; совсем другой человек стала Маша: спокойная и даже как будто веселая. С дочкой возится и мужу твердо говорит: так мол, и так, посадила во дворе вербу, из нее вырастет куст – и все с нашей кровиночкой будет хорошо. Любой садовод скажет: никакой куст, милая, таким макаром не вырастет. И уж муж Машин это знал и за голову схватился... кричал. А она что: ходила с дочкой поливать и рыхлить эти веточки каждое утро, до самой глубокой осени...

Старушка прикрыла глаза и будто бы забыла открыть; нахохлилась вся и замерла, ловя в апрельском влажном воздухе отзвук собственных слов.

– И что? – хрипло спросила я. У меня всегда голос садится на холоде.

– А вот, прижилась верба. Вы еще к Воскресенью-то себе не взяли? Нарвите, нарвите, не стесняйтесь!

Поскольку я осталась сидеть, рассказчица сама потянулась к кусту и ловко обломала несколько гибких темно-красных веток, сунула мне весною пахнущий букет в ледяные руки.

– Спасибо вам, пойду я. Вон, кстати, и Наталья Борисна возвращается. Ну, будьте здоровы, милая.

Они так ловко перевела мое внимание на продавщицу старого фотоаппарата, что я едва успела задать главный вопрос.

– А с ребенком-то что?

Старушка заулыбалась совсем ослепительно, демонстрируя фарфор:

– Поправилась!

Пискнула домофоном высокомерная дверь, с почтением признавая в старушке сильнейшего. Я поднялась навстречу хмурой «Наталь Борисне».

– Здравствуйте. Я – Лена, насчет фотоаппарата.

– О! – просветлела тетка. – А я вам звоню-звоню на мобильный, а вы не берете! На рынок колхозную редиску привезли, ну как не сбегать, дешевле, чем у черных, раза в три! А я смотрю: кому эт наша Марькирилна мозги полощет. Вроде незнакомый кто, а это вы!

Она говорила так, как будто мы с ней были знакомы лет сто...

– Чо, про вербу вам рассказывала? От беда, бедная женщина.

Поддерживать разговор мне не хотелось, а хотелось только зеркалку и горячего чаю, но проконтролировать свое лицо я не успела. Наталья Борисовна среагировала на изумленно приподнятые брови, как хорошо вышколенная овчарка – на команду «фас».

– Так то ж она эту вербу и посадила, все надеялась, что дочка ее с того вылечится. И, нате вам, куст во-он какой вымахал, а ребенок помер. Она так с тех пор и... того. Всем рассказывает, что...

Я отвернулась и пошла к метро. За спиной трагический шепот сельской актрисы пресекался и перешел сначала в недоуменные, но уже более натуральные возгласы «куда вы? а фатапарат?», а затем и в абсолютно естественные крики «больная! ку-ку!».

Я несла вербу и думала, что где-то живет давно повзрослевшая Машина дочка. И в мае, когда земля прогреется, мы с сыном обязательно посадим проросшие веточки у нашего подъезда.

Мальчики: машина Верб

Алексей Сергеевич Горюхин вздохнул и поднял трубку внутреннего телефона.

– Анечка, сидит? – спросил он невидимую секретаршу.

– Да, – безразлично откликнулся голосок помощницы, не прибавившей к ответу имени-отчества начальника. Умница, девочка, хоть сейчас тебя в шпионки. Алексей Сергеевич представил, как бодрая и свежая Анечка выстукивает карандашом стеклянную столешницу и смотрит слегка мимо настырного посетителя. Он и посетителя представил – сидит, непременно закутанный в плащ, эдакой неопрятной кучей на диване, а мосластые колени торчат в стороны.

– Так вы мне немедленно сообщите, когда он уйдет, – почти моляще сказал Алексей Сергеевич. – У меня же колит, а я в ресторан спуститься не могу.

В меню ресторана на втором этаже министерства был раздел «диетическое питание». Это Горюхин любил.

– Да-да.

Алексей Сергеевич собрался разъединиться, но не удержал таки раздражения:

– Черт его знает, что такое! Натравите на него Власова, что ли? Сколько можно...

– Власов в отпуске, – со всей строгостью ответила Анечка, – Горюхин, кстати, тоже.

Он вернул трубку на место и усмехнулся. Во даёт, шпионка и есть. А про отпуск Власова как он забыл? Склероз, в сорок два-то? Да откуда склероз, это просто, как шутит жена, позывы на низ одолевают, оттого и мысли сикось-накось... разбредаются. Нужно – и даже второстепенное – Алексей Сергеевич помнил наиотличнейшим образом.

Помнил, что тридцать лет назад был не министром новой энергетики, а Алешкой из Покровского, наследником потомственных алкашей и другом Костика со странноватой в среднерусской полосе фамилией Верб. Того самого Костика из поволжских немцев, что сидел теперь в приемной. «Зови меня просто Костян Золотые Ручки», – светясь от удовольствия, сказал когда-то давно двенадцатилетний Верб, выкатывая из сарая чоппер, и Алешка полностью с ним согласился. Мотоцикл был самоварный. Идея и основная работа принадлежали Вербу, Горюхин же доставлял материалы. Он нашел в колхозных сараях пусковой движок от тягача, переднее тракторное колесо для широкого заднего колеса мотоцикла, притащил водопроводные трубы на будущую раму и выклянчил у батьки сто лет ему не нужный (клянчить все же пришлось долго) бензобак от «Минска». Что с того,

что чоппер получился без трансмиссии и зажигания? Что с того, что сварка лопнула через десять километров, и назад они возвращались пешком и изрядно побитые? Сначала был триумф – когда, сверкая полированной песком вилкой, они промчались на мотоцикле мимо деревенской площади...

Двадцать пять лет назад раздружились – кажется, так у многих случается. Верб поступил на физфак, Алешка пролетел мимо факультета управления и прильнул к молодежному движению, которое было, по сути, отпрыском правящей партии. И незачем бы ему помнить о первых шагах слуги народа – а вот они, в памяти рядом с чоппером.

Три года назад, когда Горюхин занимал почетную должность отставной козы барабанщика в отделе перспектив электроэнергетики (новая энергетика тогда заключалась в запрете на лампы накаливания), ему позвонил Верб.

– Здорово, Лексей, – сказал он так, будто вчера еще они обдумывали конструкцию седушки чоппера. – Это Верб, узнал?

– А-а, – вяло отреагировал Горюхин. С тех пор, как он стал причастен к министерскому колесу оборзения, какие только удивительные знакомые из доисторических времен не пытались его использовать. – Ну здравствуй.

– Здравствуй, здравствуй, конь мордастый! – проигнорировал Верб отсутствие энтузиазма. – Давай пивка попьем, пока я в столице. Покажу тебе одну штуковину.

«Покажу тебе одну штуковину» было кодовой фразой Костяна Золотые Ручки. И служило гарантией чего-то... интересного.

К пивной Горюхин подошел пешком и сразу подметил среди иномарок на парковке «Запорожец» безумного лилового окраса: из окна ему махал Верб. Горюхина неприятно задело, что сам он оставил машину в гараже, Верб же прибыл на колесах, явно не собираясь напиваться.

– Здорово еще раз, садись, энергетик! Ладно, что да как по жизни – потом обсудим. Ты тачку оцени, как тебе моя штуковина?

Горюхин подумал нехорошее, шурша прической по мягкому потолку, и скосил глаза на рычаг переключения скоростей. Набалдашник рычага представлял собой розу, вплавленную в кусок прозрачной пластмассы.

– Ты сюда смотри, на датчики! Разницу видишь?

– Ну... – без особой уверенности начал Горюхин, – дизайн, конечно...

– Да какой дизайн! – возопил Верб. – Топливная шкала где?! Нету топливной шкалы, потому что нахрена она тачке без топлива!

Вечер и последующая ночь прошли в алкогольном чаду. Семейство Алексея пряталось по углам, пытаясь не обращать внимания на дикие крики, какими двое мужиков оглашали дом. Пили, в основном, приличествующий случаю «Абсолют».

– Ты гений, Верб! Гений, черт тебя возьми!

– Да и хрен с ним! Ты пойми: атмосфера обладает огромными запасами двух видов кинетической энергии: это энергия масс воздушных потоков и рассеянная тепловая энергия. Ветряная энергия – это уже пройденный этап, годится только ветры пускать, – тут они заржали и долго не могли остановиться. Отдышавшись, Верб продолжал:

– На каждый градус температуры в слое воздуха толщиной всего лишь в километр содержится приблизительно миллиард миллиардов киловатт-часов энергии, понимаешь? Их бы только достать!

– За киловатт-часы!

– За киловатт!

Выпили, потом еще и еще. Как все легко и просто получалось на словах Верба: только и дел, что придумать штуковину, которая извлечет тепловую энергию из воздуха и преобразует ее в электрическую! А чо там, элементарно! Вот он, Верб, подумал лет пять – и придумал же такой разэтакий накопитель энергии из воздуха (за накопитель)! Тут впендюрил затворик (за затворик за впендюренный), тут – цепь замкнул; все пока что топорно, но: шарашит. И катается себе Верб на «Запорожце», не тратя на топливо ни копейки, и все могут так кататься – на «Хондах» своих и прочих «Бумерах». На халяву! И любой электрический прибор теперь может работать на халяву (за нахаляву)!

Следующий год прошел, по сдержанному определению Горюхина, интенсивно. Личная Закрытая Аудиенция известно у кого; статус военной секретности; опытная линия по производству накопителей и их применению на практике. Бац – рождается министерство новой энергетики, бац – Горюхин из барабанщиков переходит в министры, бац, бац, бац – завод накапливает накопители, и они работают, куда их не воткни. А десять месяцев назад Верб взбесился.

Он приползал к Горюхину домой и в министерство и, едва ворочая вживе заспиртованным языком, выдавал горячечную чушь. Суть чуши сводилась к тезису «неладно что-то в Датском королевстве» и нервическим просьбам приостановить на время

производство. Пока он, Верб, не разберется, что к чему. Примерно тогда же Алексей Сергеевич познакомился с колитом (Горюхин, это колит; колит – это Горюхин); истово, как всякий неопит, он следовал указаниям врача и избегал тревог – то есть Костяна Золотые Ручки. Домашнюю изоляцию от Верба обеспечивала жена, прикрытые на работе досталось Анечке. И с тех пор...

За дверью кабинета слышался шум. «Да прекратите же толкаться!» – почти прорычала в приемной Анечка, и тут же они ввалились к министру: то ли посетитель, облапивший секретаршу, то ли секретарша, развратно повисшая на посетителе.

Верб посмотрел Горюхину прямо в глаза.

– Ты... ты так постарел! – ахнул Алексей Сергеевич, отринув дипломатию и не пойми откуда известные правила общения с психопатами (не гневить! не кричать! говорить мягко и ни о чем). Когда ожидаешь увидеть ровесника, а видишь семидесятилетнюю развалину – до политесов ли?

Верб уныло усмехнулся:

– Здравствуй и ты.

Анечка уже сползла с Верба и за его спиной знаками указывала на телефон связи со службой безопасности. Алексей Сергеевич повертел головой, якобы разминая затекшую шею (для посетителя), на деле же отвечая отказом (для секретарши). Может, оно и к лучшему, что Константин прорвался. Может, спокойный разговор по душам способен еще остановить сумасшествие... вернуть все, как было.

– Анечка, нам чаю. Ну, вашего, цветочного... – проклятая память, как же он называется-то, этот чай?!

Анечка моргнула, принимая заказ, и затворила дверь.

– Что, старик, проблемы с памятью? – хихикнул Верб.

– Послушай, Константин, успокойся. Сядь, давай поговорим, как два взрослых человека.

– Ты хотел сказать – как два СТАРЫХ человека? Нет времени на спокойствие, Алеша. Мы должны остановить производство. Ты читал мои доклады?

– Эти маловнятные писульки про шестое чувство? Первую прочел, но, Костя...

– Не про шестое чувство, а про пятое фундаментальное взаимодействие!

Верб замолчал: в кабинет вернулась Анечка, проплыла к маленькому столику, неся поднос безупречно, как официантка высшей категории.

– До сих пор ученым, – продолжил Верб, когда они остались вдвоем, – достоверно было известно только о четырех фундаментальных взаимодействиях: гравитационном, электромагнитном, сильном и слабом. Я писал тебе подробно; впрочем, вижу, что ты толком не прочитал, да это и не важно. Захочешь – ознакомишься, если не выбросил. А-а! выбросил. Что ж... Так вот, существуют околonaучные теории о пятом фундаментальном взаимодействии. Торсионное, хрононное... варианты есть, но это все не доказано. Ты слушаешь?

Горюхин воровато встрепенулся. Лихорадочный голос Верба, то и дело срывающийся на фальцет, парадоксальным образом одновременно усыплял его и нервировал. Ввергал в неглубокий кошмарный сон, если можно так выразиться.

– Костя, ты давай покороче. Сам знаешь, с естественными науками у меня отношения не ахти... еще со школы. Что с тобой-то произошло? Почему ты пытаешься загубить свою же идею, свое детище теперь, когда мы стоим в полушаге от мирового переворота? Все изменится для России, мир со следующей недели станет играть по нашим правилам – все благодаря твоему... да нет, не уму – гениальности, черт побери! В чем же дело, – Горюхин помедлил и закончил, – друг?

– В пятой фундаментальной силе, которая все-таки существует. Я назвал ее в своих, как ты изволил выразиться, «писульках» витальностью.

– Бред, – отрезал Горюхин и потер ноющий желудок. Без диетического обеда, он знал, к вечеру ему станет совсем нехорошо.

– Бред, – согласился Верб, – тогда посмотри на меня. На сколько я выгляжу в сорок три года?

– Ты переработал, Константин. У тебя срыв, – ответил Горюхин, избегая смотреть на морщинистое лицо собеседника, на его черепашью обвислую шею, руки, густо засаженные пигментными пятнами. – Поди, не спишь совсем?

Верб дернулся:

– Ну-ка, давай посчитаем. Я работаю с накопителями около семи лет. Езжу на машине с накопителем – с две тысячи пятого, пять лет как. Дом на полном энергообеспечении от накопителей – с две тысячи седьмого, тогда же мы решили делать проект. В этом году, если помнишь, я поставил накопители на твой телевизор и кучу прочего бытового барахла.

– То есть ты хочешь сказать...

– ...что мой накопитель основан на аккумуляции рассеянной в воздухе тепловой энергии, но, помимо энергии, он забирает из воздуха кое-что еще. Кое-что такое, без чего люди стареют быстрее положенного!

– Ты хочешь сказать – витальность.

– Да, витальность. Смейся, если тебе смешно, но закрой производство! Пока накопители не стали использоваться повсеместно! Еще есть шанс, еще работает только один маленький опытный заводик в Предуралье...

Горюхин, стараясь действовать незаметно, помассировал под столом живот и побагровел:

– Если бы ты, Константин, не вынудил меня своим поведением отказаться от общения с тобой, ты бы знал: успех ошеломительный! Отчеты ушли на самый верх еще полгода назад, по всей стране началась реконструкция старых производств! Бюджет рассчитан, исходя из новой энергетики! На следующей неделе секретность будет снята, хочешь ты того или нет.

Верб поднял ладони, словно защищаясь от возможной оплеухи:

– Министр, ты понимаешь, почему силы, о которых мы толкуем, называются фундаментальными? Это – основа жизни, убери хотя бы одну подпорку, и развалится вся конструкция! Теория требует разработки, но уже сейчас у меня есть основные предположения. Первое – витальность не возобновляется. Второе – дефицит витальности схож по действию на человека с жаждой: сначала организм ничего не замечает, потом сопротивляется, а в конце наступает необратимое обезвоживание – и всё! Думаю, взрослый человек способен выдерживать снижение витального фона лет пять-семь... а потом постареть за один месяц на целую жизнь.

– Сплошные догадки, – отрезал Горюхин. – Но если ты и прав, и эта, черт ее возьми, витальность существует – так медицина далеко шагнула, вон, уже почти умеют СПИД лечить. Придумают и тут что-нибудь, и закончим на этом.

– Почти – это ключевое слово, – едва шевеля губами, сказал Верб. – Слушай еще: мы стали пользоваться накопителями во взрослом возрасте, когда витальность уже не так важна для организма, и все-таки процесс старения ускорился.

– Замолчи!

– Я думаю, чем взрослее человек, тем в меньшей степени он способен взаимодействовать с витальностью окружающего мира. Витальность – важный фактор для

организма растущего... да? Представь себе: мир, не сумевший отказаться от бесплатной энергии, в одно прекрасное утро проснется старым, не останется никого, кто...

Алексей Сергеевич поднял телефонную трубку:

– Анечка, проводите посетителя.

Константин Верб поднялся.

– Значит, ты боишься потерять положение сильнее всего прочего? После нас – хоть потоп? Понимаю... но мне-то терять нечего. Об одном тебя прошу: не мешай! Просто спиши потом теракт в Предуралье на психа-изобретателя и уничтожь рабочие записи. Каждый делает свою работу, верно?

В дверях появилась бесшумная Анечка. Старик в мятом плаще шутовски раскланялся и вышел.

– Хотя в этом ты прав, – сказал Алексей Сергеевич закрывшейся двери и с облегчением пукнул, – каждый делает свою работу, друг.

Он подошел к телефону и позвонил в спецотдел службы безопасности.

История одного самоубийства

Если бы у нас была возможность поговорить по душам с мужем самоубийцы – помогло бы это прояснить всю историю? Вот он бродит по квартире, бессмысленными и неверными движениями трогая предметы, которые еще несколько дней назад являли собой семейное достояние, а теперь перешли в его единоличное пользование – все эти пуфики, и полки, и даже по-прежнему двуспальная кровать.

Мы негрубо, но решительно отобрали бы у него книгу (предсмертное чтиво жены, такой детектив в мягкой обложке), сжали его крепкие крупные суетливые руки и усадили бы в кресло. Мы бы предложили ему упаковку бумажных платков и негромко спросили бы:

– Как же так получилось?

И этот не очень молодой, но и нестарый еще мужчина поднял бы на нас глаза и ответил:

– Не знаю.

Но, коль скоро горе требует много чего, и главное – выхода, а поговорить ему не с кем, ну не с тещей же или тестем, и не с папой-сердечником, то он, мы уверены, продолжал бы:

– Мы были счастливы, но... в последний месяц она жаловалась на усталость, да, знаете, на какую-то постоянную усталость, а отпуск брать не хотела, у нее там вечно была очередь. Больные – знаете, она просто не могла их оставить. Так она говорила. Операции, операции. Вот она и устала.

Здесь мы бы деликатно отвернулись, как бы с интересом рассматривая обстановку в гостиной – всё очень милое, уютное, со вкусом прилаженное друг к дружке, нечопорное, но и без неряшливости. Муж тем временем справился бы с собой, воспользовался бы первым платком и прерывисто, именно что прерывисто вздохнул бы.

– У вас были дети? – не с целью сделать больно, но лишь для выяснения важного факта задали бы мы вопрос.

– Нет. Мы, знаете, давно еще решили не заводить. Она же все-таки была врачом, постоянно смотрела на людские страдания... Не хотела, чтобы возможный ребенок мучался. Я, помнится, сказал тогда: ну это же не обязательно, но она как-то так посмотрела... в общем, не настолько я и хотел этих детей. Мы с ней любили путешествовать, в походы, знаете, ходили.

– Какая она была? – спросили бы мы, пытаюсь внести ясность в туманный силуэт уставшей покойницы, и муж улыбнулся бы. Улыбнулся, потому что второе место после удовольствия быть с любимым человеком занимает удовольствие говорить о нем.

– Ответственная. В первую очередь – ответственная. Никогда, знаете, не опаздывала, но и заранее старалась не приходить. Появлялась тютелька в тютельку, с каким-то почти торжествующим видом... Любила рассказывать небылицы, но это я говорю – небылицы, а она называла их враками. Придет со смены, пьет горячий чай и говорит мне – слушай, новую враку буду рассказывать. Из-за этого казалось, что она живет в каком-то удивительном мире, не в нашем, где все эти метро, пробки, грязные дороги... Пациенты у нее вечно оказывались то детьми олигархов, то наследниками какого-то что ли Датского престола; а ведь она работала в инфекционке, куда только самый сброд привозят – без страховок, без ничего. Я не знаю, что еще...

И он недоверчиво покивал бы головой самому себе, как бы удивляясь, сколь мало он может рассказать о покойной единственной.

– То есть она была выдумщицей? Возможно, у нее был дневник? – уточнили бы мы, преследуя свою изначальную цель.

– Да, – ответил бы муж и тут же поправился бы, – то есть выдумщицей – да, но дневник она не вела. Она писала такие небольшие рассказы, как же я сразу-то не вспомнил... исписала, знаете, уже несколько тетрадок; постойте, сейчас я вам покажу.

– И она публиковалась?

– Нет-нет. Только шутила – еще немного, и можно будет книжку выпускать, «Записные враки». Ну вот, смотрите. Впрочем, позвольте, я сам прочитаю, как она раньше читала, прочитаю, что мне нравится. Вернее, мне все ее рассказы нравятся, но этот как-то из последнего и... в общем, слушайте. Название: Song for lovers. Значит – Песня для любовников.

Мы бы, разумеется, не стали с понятной долей сарказма благодарить мужа за перевод и даже не стали бы торопить с чтением – пусть человек спокойно оботрет небритое лицо клинком, оставляющим на щетине мелкие катышки бумаги, пусть даже и высморкается, если того требует физиология, и затем продолжает.

– «Воскресенью давно уж пришла пора закончиться, но оно длилось и длилось. Поэтому я начала пылесосить, просто чтобы засосать пыль и время, да и выбросить их прочь. Мужу тоже нечем было развлечься, но пылесос у нас один, и ему оставалось только волочиться за мной из кухни в коридор и далее в комнату, причитая: зайнька, дай я тебе помогу, зайнька, скажи же, что сделать. И я, повинувшись истинно милосердному чувству, сказала: закончу пылесосить, тогда пойдешь и вытряхнешь мешок в мусоропровод. На что мой удивительный человек заметил, что чистить мешок пылесоса, когда тот далеко не до конца забит – бессмыслица. Мне кажется, сказал он, для вытряхивания мешка должны иметься веские причины – например, утеря пылесосом всасывающей силы. После сего глубокомысленного замечания муж удалился возлежать на диван. А на «Европе Плюс» диджей очень кстати заорал – а теперь песня для вас, любовнички! И я подумала: да, Song for lovers».

Муж посмотрел бы на нас, ожидая реакции, но едва ли дождался бы: кого, в конце концов, интересуют наши меткие критические замечания вкупе с сомнениями, а можно ли причислить эту заметку к благородному племени рассказов. Мы бы улыбнулись, да, сдержанно и печально, что вполне сошло бы за отклик и – в худшем случае –

спровоцировало бы новое выступление. Впрочем, всему существует предел, и новых чтений мы бы не допустили, вернув исполнителя к роли респондента:

– Это ее последняя запись... рассказ?

– Нет. Последний рассказ, знаете, остался неоконченным. Так, какие-то наброски, там и сюжет еще едва намечен... извините. Я пойду приготовлю чай, а вы посмотрите, если вам надо.

И вот у нас в руках наконец оказалась бы тетрадь женщины, которая ночью приготовила теплую ванну, забралась в воду и, держа перед собой зеркальце, глядя в это зеркальце, совершила хирургически точный разрез *arteria carotis communis* или, пользуясь народным языком, сонной артерии. Так что проснувшийся утром муж обнаружил нечто белоснежное в чем-то жидко-алом.

Мы бы с жадным интересом прочитали на последних исписанных страницах:

– «Мне показалось, что ты шарахаешься от меня, как от бубонной чумы. Самое страшное, что (зачеркнуто) но у меня не хватает фантазии поверить. Вообще-то сейчас я делаю (зачеркнуто) огромн. усилие, но и не написать тебе тоже не могу. При чем тут гордость, когда речь идет о выживании, некоем то бишь инстинкте самосохр-я. Наверное, и физич. сохр-я, но в первую очередь – психич. Можно весело писать о безумии, можно играть в без-е, но поверь мне, когда оно встает рядом, близко-близко, не то, что у порога – у кровати, способность шутить отпадает (тут я бы вставила пару-тройку забойн. метафор, но не до них теперь). Остается тупо следовать приказам (зачеркнуто) а приказы незатейливы (зачеркнуто) расставить все по своим местам. Поэтому уповаю на твое (зачеркнуто) и прошу ответить: подозр-е верное, я тебе теперь неприятна? Хотя хули тут разводить эвфемизмы – омерзит., тошнотворна, да? Не стесняйся, любое опред-ие меня устроит, потому что вот то черное, что залило мне мозги на две трети, отступит. Ненавижу неопред-сть. Какого хера! Ты вообще всякий стыд потерял?! Или ты думаешь, что я, как собака, приползу к твоим тапкам? Я должна бросаться наперехват, едва завидев тебя? Ты (зачеркнуто) садист? Нет, но какова наглость: (зачеркнуто) совсем не оставляете меня в покое. Я, допустим, на опер-ии, а над маской медсестры – Ваши шальные очи. Как Вам не стыдно. Домой прихожу, а Вы тут: посиживаете в самом удобн. кресле, наблюдаете. Вчера готов. ужин и слыш., как Вы комментир. в комнате футбол. Зачем Вы насылаете на меня своих суррогатов? Что ты сделал со мной? Фантастич. сюжет».

И если до этих строк вся история смотрелась маловнятно и неубедительно – какая-то уставшая жена, какие-то настырные больные – то сейчас-то уж нам стал бы ясен образ сочинительницы любовного письма, кем-то (адресатом – не мужем) жестоко обиженной и отвергнутой за пределы жизни. И если бы даже обнаружился теперь демиург, какой-нибудь педантичный бог с целым ворохом щедрых деталей, с именами и фамилиями, с адресами встреч и точными датами, с видеозаписями и картами памяти, то он, этот бог, оказался бы не у дел благодаря милосердной приписке корявым врачебным почерком, благодаря двум словам, одно из которых еще и сокращено.

За эту приписку, сделанную, вероятно, на исходе душевных сил в момент наполнения ванны, держится муж, шкандыбая из кухни обратно в комнату с чайником и чашками, и мы думаем – а вот что для мужа важнее и нужнее: настоящая история самоубийства или фантастич. сюжет?

Часть III. Практические опыты

Такая белая куртка

Мария мыла пол, когда муж что-то крикнул из ванной. Он там тоже хозяйствовал – стирал белую куртку старшенькой.

– А это ты себя, любимого, благодари, – получасом ранее не без злорадства сказала Мария, подводя мужа к корыту. В корыте с утра квасилась, выпухая пузырями болоньи из мутной воды, куртка. – Благодарю за удачное приобретение и стирай давай.

– Да уж постираю, – мирным тоном, но заносчиво по контексту, сказал муж.

– Вот и постирай.

– И постираю, постираю.

– И за хорошее вложение денег порадуйся. Нет, это ж надо, купить ребенку зимнюю куртку: а – белую и бе – только ручная стирка. Молоде-е-ец! Сколько Настька ее протаскала? Недели две?

Муж взял из стеклянной мыльницы влажный брусочек и потянулся за мочалкой.

– Ну куда, господи?! Ну что ты хапаешь без разбора? Ты давай еще эту куртку моим шампунем за пятьсот ре помой, совсем с ума съехал. Бери из-под ванны хозяйственное мыло, щетку там доставай, и вперед!

Мария отпихнула мужа и сама извлекла наощупь все необходимое, в то же время свободной рукой ворочая предмет раздора в корыте. Утеплитель куртки размок и стелился по дну отдельно от болоньевого верха, скользящего и хрюкающего под пальцами.

– Зато мы романтики, да! – Мария скрежетнула щеткой по стенке ванной. – У всех мужья, как мужья, а у меня один сплошной романтизм. Да что ж ты под ногами-то путаешься, а? Ведро мне подай.

Кран взвизгнул и влепил струю горячей воды в жестяное дно.

– В доме трубы воют, толчок течет, а кормилец наш, чем починять, приносит из магазина белые одежды, – возвысив голос над грохотом крана, продолжала Мария. – И главное, что говорит наш кормилец? А говорит он следующее: так мол и так, дорогая супруга, купил дочери куртку точь-в-точь, как была у тебя в юные студенческие годы, любуйся, говорит, и радуйся. Это ж романтика!

Она взяла наполненное ведро и швабру, подтолкнула мужа к освободившемуся месту и спросила:

– Ну? И чего молчим?

– А я помню у тебя такую куртку... И Настюха в ней – вылитая ты.

– Да не носила я белого с роду, не но-си-ла! Потому что – вот, – Мария величаво повела шваброй в направление корыта. – Это непрактично, если до тебя еще не дошло. Нет, конечно, женщины очень любят непрактичные подарки, но, как бы тебе объяснить – себе, а не детям, и другого свойства. Колечки там с бриллиантиками, бирюльки всякие золотые. Да хотя бы шелковое белье! И, удивительное дело, всем женам дарят, все люди, как люди, одна я – как пиписька на блюде.

Муж, присев на край ванной, вжикал щеткой по мокрой серой манжете.

– Смотри-ка, – он ополоснул рукав и стал оценивать результат под лампочкой, – кажется, неплохо оттирается.

– Мои поздравления, – устало ответила Мария. – А бриллианты, кстати, оттирать не надо.

Она пошла с ведром в залу, где возле трельяжа под уханье музыкального центра крутились дочери. Девятилетняя Лина, подражая Насте, расстегнула молнию на джинсах, скрутила вниз тугим валиком пояс: модель на бедрах.

– Девочки, что за музыка! Лина, жопку прикрой – смотреть противно. Настя, звук, говорю, приглуши. Господи, чем ты ребенку голову забиваешь? Лина, а ты тоже хороша, слушаешь ее. Тебе ж вроде бы эта нравилась, Наташа Орейро, что ли? Она хоть петь умеет.

Высокомерная Настя, вихляясь тонкой фигурой, дотанцевала до магнитофона и выдернула шнур из розетки:

– Не Наташа, а Наталья. Редкостный звездац, – выдала она Марии, надела наушники и включила плеер.

– На-стя!

Но старшенькая уже валялась на диване, полузакрыв глаза и слабо шевелясь в такт ритмам, мутными струйками подтекающим из ушей.

Лина застегнула джинсы и забралась с ногами в кресло.

– Ма, Наталью Орейро теперь никто не слушает. Рэп форева, – немножко стеснясь своего нового убеждения, сказала она.

– Да ну вас, – махнула рукой Мария и макнула веревочную голову швабры в ведро.

...Ах, как этот день хорош – и первый весенний дождь, и беззаботная лень – нет, слишком хороший день! В такой день не быть беде, я молча иду к воде, а небо кружит, как в бреду... это еще что? Мария замерла, наблюдая гаснущие мокрые разводы на полу.

Неудивительно, что ей не вспоминалось: муж, как водится, все перепутал. Куртка, куртка! Полушубок у нее был, исходно – тут чудом угадал – белый, но быстро побуревший от носки. Девяносто второй, стоп, третий год, март, и действительно, первый после морозов дождь, пробивший в лежалом снегу множество дырочек с острыми краями. Машка с Сашкой удачно – фантастически, нереально удачно, – отоварились разливным в канистру и идут от общаг мимо прудика, мимо китайского посольства, мимо холуйски искривленных берез к Смотровухе. Из парка тянет острым земляным духом, а от Сашки – нарезным батонном. В двадцать с небольшим можно закусывать ржавое кооперативное пиво хлебом, не беспокоясь – да, собственно, ни о чем не беспокоясь...

И вот тут как раз муж крикнул из ванной. Мария прислушалась – то ли он ее звал, то ли уронил чего.

– Лин, что папа-то орал, ты слышала?

– А? – дочка продолжала листать модный журнал.

– Да нет, ничего. Надо будет, сам придет.

...А потом мальчики налево, девочки направо, и Машка лезет сквозь влажные ознобные ветки, радуясь, что на ногах – туристические ботинки на рифленной подошве; гадики мои, с пьяной любовью шепчет Машка, где угодно пройдут. А небо, знаете, кружит, как в бреду.

Машка смотрит на него, светлое, очнувшееся от зимы, как от обморока, и наступает в то, что лежит под ногами – но ничего хорошего там не лежит. То есть фактически никогда, и уж точно не в этот раз. Свидание пропало, все пропало! Все пропало, думает Машка, таща за собой тяжелый шлейф раскуроченной вони, и скребет ботинком по земле: бесполезное занятие. Глубок узор на твоих подошвах, о Парижская Коммуна. И Машка выходит из лысого валежника на асфальт, как на лобное место.

А потом невозмутимый Сашка веточкой отковыривает налипшее и усмехается – блин, Машк, да оно и с червяками, выискала, куда вляпаться, алкашка. Медленно, неохотно падают на тропинку вязкие пластилиновые стружки. Машка-алкашка прыгает рядом на одной ноге, еще смущаясь, но уже не краснея, смотрит на него, такого родного, с

предательским ботинком в руках, и думает: выйду замуж за тебя, как есть выйду. Такой день – лишь раз в году.

Машка прошла шваброй вдоль плинтусов, испытывая приятную горечь небольшого раскаяния. Зря она так на мужа брюзжала. И вообще – муж, муж, а ведь он еще и Сашка. И пес с ними, с бриллиантами.

– Саш, ты звал? Саша!

Она остановилась у закрытой двери и вдруг поняла, почему Сашка крикнул только один раз и почему не отзывается теперь. Ясно увидела его – обмяк у бортика, левая рука вывернуто свисает в ванную, правая разложена на колене ладонью кверху, – увидела мерцающий след мыльного куска наискось по кафельному полу. Увидела пластиковую мертво натянутую кожу на запрокинутой шее, там, где обязан прыгать пульс. Сердце? Или поскользнулся, ударился виском о раковину? Мелочи не просматриваются, пока дверь в ванную затворена.

Машка хлопает зачерствелыми губами, вдыхает неаккуратно, так что зубы ломит прохладой, и пытается понять: а что же Сашка услышал от нее, ну, последнее? Что она ему сказала – теперь получается, напоследок? Машку заклинило, она не помнит и боится, что это было какое-нибудь не совсем вежливое слово, какое-нибудь словечко вроде ко...

Дверь распахивается и гулко, звонко встречается со лбом Марии, которая вскрикивает, отшатывается! Смотрит на темный силуэт в электрическом обрамлении.

– Ой, – говорит муж, – ой, прости! Я в тебя, что ли, врезался? Что ж ты подкрадываешься. Ты как, жива?

– Ну, ты... – стонет Мария, – козёоол...

Самолёт

– Слушай, прекрати немедленно.

– Не могу.

– Прекрати немедленно, или я уже не знаю, что сделаю!

– Я правда не могу, не могу, не могу!

Тут он сменил тактику, смягчил взор, обнял за плечи: самец на страже семьи. Она уткнулась ненакрашенным лицом в мягкое родимое пузо, которое сегодня пахло на удивление отвратительно. Впрочем, сегодня всё вокруг откровенно воняло.

– Не ори на меня, а? – попросила она, слюнявя губами по футболке мужа. Вокруг них металась по своим делам люди с билетами, сумками и озабоченными лицами.

– Малыш, ну я не ору... сейчас уже Гришун из туалета вернётся, а тут ты с истерикой. Ведь вроде как мы уже всё обсудили?

Катерина прерывисто вздохнула и вывернулась из рук Фёдора.

– Я и впрямь боюсь, – она потёрла виски. – Мы же не первый раз куда-то летим, да? И всегда было нормально. А сейчас...

– Всё, успокаивайся.

– Это предчувствие, понимаешь?! Никогда раньше такого не было!

Федор закатил глаза: самец саркастический.

– Ну ладно. Ладно. Давай ты останешься, малыш? Мы с Гришуном полетим, а тебя Светка назад в Москву отвезёт. Это-то тебя устроит?

Как же в мужском мире всё просто: есть добро и зло, здоровье и болезнь, да и нет, а любые приметы, невидимые недоказанные никем токи предзнаменований, сны – бред, вымысел. Бабы сказки. Катерина вспомнила, как вчера они с Олегом сидели после кафедры в кофейне; вчера она ещё худо-бедно держалась: для семейной женщины затяжной флирт опасен не менее чартерных рейсов. Подобное подобным. «Я буду скучать», – Олег цеплял её глазами и голосом, и вдвоём они понимали, что увлекательный период гляделок подходит к завершению, что приближается граница, которую они, скорее всего, перейдут.

– Так что, остаёшься?

Катерина подняла голову и с удивлением ощутила слёзы на щеках. Сквозь шум аэропорта до неё донёсся голос сына:

– Тётъ Свет, вон они! Побежали!

Гриша с разгона наскочил на Фёдора; спустя минуту неспешно подошла и Светка. Фёдорова сестра разглядывала Катерину с лёгким недоумением и брезгливостью, всем видом поддерживая идею о бабьих сказках. Катерина обычно жалела Светку – легко ли той жить раскоряченной, с мужской психологией в женском теле, – но не теперь. Теперь она с превеликим удовольствием расцарапала бы ей лицо. Ну, просто так, и чтобы отвлечься уж заодно. Интересно, Фёдор был бы доволен таким переключением интересов?

– Федюнь, регистрация через пять минут, у одиннадцатой стойки. Мы сейчас мимо проходили – там уже толпа. Двинемся?

Гриша теребил Катерину за мизинец:

– Мам, ты чего? Ты плачешь, да? Ты заболела?

– Гришун, отстань от матери, – скомандовал Фёдор и потянул вверх ручку их огромного чемодана на колёсах. Ручка застряла в пазах и выдвигалась неохотно, с мерзостным скрипом.

– Мне... – сдавленно сказала Катерина, отнимая руку у Гриши, – я сейчас, мне тоже надо в туалет. Идите, у стойки встретимся. Я быстро.

Ёжась под взглядами мужа и золовки (а сын всегда смотрел на неё только с любовью, но его маленький взгляд не мог перевесить тревогу и усталость больших), она почти побежала по сверкающему полу. Первое: гороскоп (Весам на этой неделе стоит побережь здоровье). Второе: карточные пасьянсы (перестали сходиться уже дня три как; это плохо, это просто ужасно). Третье: сон. Катерина не помнила подробностей, но в ушах до сих пор стоял равнодушный глуховатый голос родом из ночи. Последний рейс, сказал голос, – и что там было дальше, неважно. Катерине этой фразы хватило по самое не балуйся, а вот Фёдору не хватило (бабы сказки). Мало? Пожалуйста, сказала она мужу, вот тебе ещё: самолёты не падали уже четыре месяца, ну хоть это тебя, ну хоть отчасти, беспокоит? Или ты считаешь это хорошим знаком? А может, ты готов поспорить со статистикой, которая как бы говорит нам: дорогие, пиздец неминуем. Ты обалдела матом орать, сказал Фёдор, Гришун услышит. Но ты хотя бы знаешь, спросила она, что после катастроф всегда находятся люди, необъяснимым образом захотевшие сдать билеты? Я имею ввиду – те, кто всё же сдали билеты и остались на земле? Потому что те, которые просто хотели и не сделали, мы о них ничего не знаем, не знаем ни-че-го... Тут Катерина расплакалась, повторяя – вот и я хочу, вот и я.

Дура. Вчерашний поздний скандал отнял последние силы, лишил воли. Теперь она напоминала себе курицу с наброшенным на голову тёмным мешком: ещё вздрагивает, покрикивает заполошным голосом, но далеко не убежит. Мир казался плоским дурно отснятым фильмом с уродливыми неизвестными актёрами, даже не живыми людьми – слабыми компьютерными имитациями.

А ведь могла бы, чем попусту сотрясать вчера воздух, выйти на лестничную клетку и прыгнуть ступенек через семь, навстречу надежде сломать ногу.

Катерина щёлкнула замком кабинки, села на крышку унитаза. «Позвонишь мне из отеля», – почти утвердительно сказал вчера Олег, сажая её в такси. Не обращая внимания

на прохожих, он неспешно целовал руку Катерины: тоже вчера, за пару часов до истерики и за шестнадцать часов до аэропортового нужника. Катерина смотрела на склонённую голову, на едва заметную плешку среди тёмных волос и хотела прыгнуть через семь ступенек до границы и дальше, обхватить ладонями эти уши, потянуть вверх, чтобы лицо прикоснулось к лицу. «Ну ладно, пока», – с неохотой отняла она руку и пошевелила пальцами в воздухе. За два часа до истерики, за два часа до вызревшего самолётного предчувствия она подумала: не спеша. Да, именно так, и ещё: границу стоит пересекать ме-е-едленно. Вот вернись из семейного отпуска...

Господи, как же всё просто. Она собралась изменить – почти планоно изменить – Фёдору, который любит её (как говорит Светка, со всеми еёнными штучками) и которого, чего греха таить, любит она. И, кстати, мысль о разводе её не преследует. Просто вот Фёдор такой, а Олег – другой, и это другое притягивает, манит. «Манишь меня, манишь меня к себе», – вспомнила Катерина «Нашу Рашу» и хихикнула. Она обхватила руками колени и уткнулась лбом в пластиковую нечистую дверцу. Поза, рекомендованная пассажирам утерявшей контроль железной птицы. Наверное, Минздравом рекомендованная, он у нас знатный рекомендатель. Тот ещё рекомендатель, Минздрав.

– Добрый, добрый Боженка, – прошептала Катерина и проглотила острый комок воздуха. – Прости мне, Боженка, мои грехи, не наказывай за них моих мужа и сына. И меня не наказывай, я ведь с ним даже не целовалась, уж ты-то знаешь. Я тебе честно-честно обещаю: если всё будет хорошо, я не стану с ним больше встречаться, ну, после работы в смысле. И звонить ему не стану, и вообще объясню, что... Впрочем, я его просто пошлю. И – никаких, Господи! Только дай нам долететь целыми и невредимыми, Боженка, только услышь меня!

Снаружи попытались вломиться в кабинку, Катерина осеклась и перешла на беззвучное шевеление губами. Душу осторожно заполнял покой.

Как же хорошо после насморочной ноябрьской Москвы, после четырёхчасового перелёта, после людной таможни и автобуса выйти из номера на балкон и зажмуриться на предзакатное море! Жаркий сухой ветерок выгоняет хроническую простуду, играет платьем – хорошо! Муж и сын тестируют в холле сервис «ультра-ол», и пальцы Катерины без опаски жмут давно привычную комбинацию кнопок: отключить блокировку, да, последние вызовы, Олег. Какая ерунда все эти предчувствия...

– Катюнька, ну как? Нормально добралась?

Слабость в коленях и счастливое сердце в желудке. Последние штрихи к картине радостного отдыха.

– Да, всё отлично, – дыхание Катерины заполняет провал в несколько тысяч километров. Она молчит и: – Знаешь, я, кажется, успела соскучиться... Олечка...

– Самойлова Екатерина Анатольевна!

(Катерина ещё успела удивиться – зачем Олег называет её полное имя, да к тому же неправильно, ведь она Катерина, безо всяких там еканий в начале, он это знает, все знают)

– Просьба срочно пройти на регистрацию рейса к стойке номер одиннадцать. Повторяем: Самойлова Екатерина Анатольевна...

Катерина вскинула голову. Бледный свет ламп резал глаза сильнее солнечных бликов на море. Она повела затёкшей шеей, оторвала кусок туалетной бумаги и подробно высморкалась. Вот так вот. Разве нормальные люди спят в сортирах, предварительно как следует помолившись Богу авиалиний?

– Ну ладно, – сказала Катерина хриплым со сна голосом, – ну я пошла.

Она-он

У нее до него было то ли пятнадцать, то ли шестнадцать мужчин – сама путалась, не смущаясь легкой погрешности в расчетах.

У него до нее была одна женщина, да и та – профессионалка.

Она говорила: дети – нет уж, увольте, как-нибудь без меня. Уродовать фигуру, терять зубы и волосы, плюнуть на привычную жизнь: ага, спасибо большое, этого нам не надобно.

Он говорил: я стану значимым, когда продлю себя в детях.

Она, кстати, отвечала: вот и рожай их сам.

Ловкими, совершенно музыкальными пальцами она скручивала из газет и травки джойнты и, заранее улетая от чувства горького дыма в горле, протягивала – будешь? Не пытаясь, впрочем, скрыть свою надежду на отказ.

Он пил водку в случайных полужнакомых компаниях.

Она говорила: да, конечно, все неспроста, и какая-то сила существует над миром, только вряд ли это Бог из церкви – какой Бог, ты только взгляни на поповские отъезды.

Он говорил: не суди, и тебя никто не осудит. Он вообще не брезговал штампами.

Она была поклонницей Кастанеды и северной столицы, отчего каждую осень отправлялась под Санкт-Петербург причаститься волшебных грибов.

Он не чувствовал петербуржцев с их вечными «поребриками» и боялся отравиться даже магазинными шампиньонами. В лес его было не выманить.

Она любила саму идею любви – любви новорожденной, пугливой и жаркой, любви-страсти. Выросшая до уважения и сотрудничества любовь ее отвращала.

Он мотал головой и растерянно ухмылялся.

Она говорила: извини, аллес люге, нам пора расстаться, наши отношения бессмысленны.

Он делал вид, что согласен, и молча караулил у входной двери: не как брошенный пес, но как древний идол – всезнающий и неумолимый.

Она изменяла ему со всеми, кто ей нравился.

Ему нравилась только она.

Она говорила: нельзя посадить любовь на цепь из кольца и отметки в паспорте, ревность – это пустое, правда – в свободе.

Он говорил, что свобода любви иллюзорна, и припечатывал избитым: верность отличает человека от животного.

Она давно порвала со своими родителями, презирала старость и – из идеологических соображений, разумеется, – не уступала места пенсионерам в транспорте.

Он жил с мамой, изредка ночуя в своей холостяцкой квартире.

Она обожала чужих собак.

Он пристраивал по знакомым осеннее потомство вечной Мурки.

Она считала себя красивой и умной, да и была такой в глазах окружающих.

Он полагал, что является слабым глупцом. Его друзья видели совершенно иное.

Она временами впадала в затяжные депрессии и совершала дряблые попытки самоубийства.

Он успел подловить ее в такой момент слабости – окольцевал, словно зоолог редкую птицу.

Она кричала, рожая, и теряла дыхание.

Он держал ее за руку и спокойным голосом повторял ей команды врача.

Она говорила через день: это невыносимо, я хочу спать, я хочу к друзьям, почему он все время орет, мне больно кормить, у меня вообще все болит.

Он дежурил ночами у кровати сына, а днем шел на работу и за молочной смесью. Спал он, вероятно, в дороге.

Она говорила: я не рабыня, у меня тоже есть карьера и, на минуточку, насчет детей была твоя идея.

Он шел в отдел кадров и оформлял отпуск по уходу за ребенком.

Она покупала сыну самую лучшую одежду и игрушки, целовала в животик и угощала шоколадом.

Он учил ребенка держать ложку и ходить на горшок, сдержанно хвалил за успехи и наказывал за непослушание.

Однажды она уехала на стажировку в другой город и не вернулась; не захотела.

Он собрался к ней, но – сын! Садик, поликлиника, да и старенькая мама...

Она перевела дух и поняла, что теперь свободна, если не считать мелкого, как песчинка в туфле, чувства тоски.

Он тосковал, но среди однообразных забот потихоньку начинал ощущать свободу.

В ее городе тоска победила.

Она вернулась и – так просто! – открыла дверь своим ключом и села, не разуваясь, в коридоре: не королева, но собака, приползшая к хозяину, которого посмела укусить.

Она ждала конца рабочего дня. Тогда в квартиру вернутся двое мужчин, большой и маленький, и последний, наверное, будет как две капли воды похож на ее любимого.

Анорексия нервозна

Я загремела в больницу. Именно загремела, потому что началось все с моего падения на пол. Грянулась оземь, как в русских сказках. С превеликим, разумеется, шумом: какие-никакие, а пятьдесят кило костей. Повезло еще, что ребенка на руках не было.

У меня трое детей, опять по-сказочному – мал, мала, меньше. Пятилетку Таню я уже редко поднимаю, а вот Костику и Светке (эта мелочь появилась с разницей в полтора года) не иначе, как ангел с небес улыбался. Поэтому в момент обрушения тела они даже под ногами у меня не вертелись. Обошлось, как говорится, без жертв.

Ну, муж, конечно, «Скорую» вызвал. Испугался, бедненький. Пока врачи ехали, сунул мне понюхать разрезанную луковицу, за неимением в доме нашатыря. Медики зашли и порадовались: лежит на кровати девица, трясется как цуцик (а меня, действительно, бесконтрольный озноб одолел), и слезами заливается. Думали, что наркоманка с абстинентным синдромом. Ошибку свою, впрочем, люди в белом быстро признали и порешили эвакуировать в больницу. Муж стоял, как потерянный, в окружении мелких, и вот тут я по-настоящему заплакала, без лука. Такие сиротки.

От расстройства у меня что-то с сознанием случилось. В машине оно все куда-то уплывало, и в приемном отделении (на табличке было – «приемный покой», и шаловливой ручкой приписка к последнему слову: «ник»; очень бодрит) мне пришлось изрядно поднапрячься, чтобы ответить на вопросы медсестры. Сломалась я на баночке для мочи. Баночка – в одну сторону, Ленка – в другую. Посудина была пустая и крепкая, что в очередной раз подтвердило мою безусловную везучесть.

Кости же девичьи в совочек смели, на каталку погрузили и оттащили под капельницей в палату.

Там, в силу ночного времени, на койках почивали пациентки. Медсестра, только что с упоением шлепавшая меня по лицу и пихавшая под нос вонючую ватку, строго наказала спать (а зачем из обморока-то было вызволять?), капельницу мою проверила и уползла. А я поплакала еще немножко – зачет по банальности – и, как пай-девочка, заснула.

Проснулась я от стука: кто-то, такой же костистый, как и я, с размаху упал мне на бедро. Открываю глазоньки: здрасте вам, сидит. Девица примерно моих лет, и тощее меня раза в два. А улыбка – даже завязочки пришивать не нужно – краями за уши цепляется.

– Отделение раковых опухолей приветствует тебя!

Я, надо сказать, спросонья вообще мышей не ловлю, до первого кофе. Но подобные заявки разгоняют дрему на раз-два-три, будьте уверены. Очевидно, удовольствие от полученной информации отразилось на моем лице, потому что улыбчивый скелетон закивал с деланным сочувствием:

– А, тебе еще не сказали? Ну ничего, ничего. Всякое случается.

У меня раковые заболевания никаким боком не укладывались в игривую категорию «шит хэпенс»; перед глазами промелькнули деточки, доверчиво обступившие молодого вдовца, и я – во второй раз за последние сутки! – отчалила к темным берегам.

Потом Вика (так победоносно звали костлявую шутницу) с жаром извинялась, не особенно стараясь, впрочем, изгнать веселуху из огромных бешеных глаз.

Приютило же всех нас отделение для людей с «проблемами питания», попросту говоря – анорексичек. Мужчин здесь не держали: вестимо, истощенные солдатики отлеживались в военных госпиталях, а на гражданке сильный пол экстремально тощал по иным медицинским причинам. Из-за язвы, например, - кто их знает. Мы же были, по словам могучей нянечки Анны Ивановны, «пасехички аномальные». Диагноз: анорексия нервозна, сказала Вика.

– По-моему, правильно – невроза.

– Ага, щаз. Раз нервная, значит – нервозна, – дернула острым плечом королевишна нашей палаты.

– А как же болезнь «невроз»?

– Не сношай мне мозги, ладно?

Переубедить Вику было проблематично. Да и, честно сказать, не было ни сил, ни желания, с давлением-то восемьдесят на сорок, и весом – как выяснилось – сорок четыре кеге, равномерно распределенных по ста семидесяти семи сантиметрам брэнного тела. В придачу к нервной анорексии у меня обнаружили вегето-сосудистую дистонию, гемоглобин шестьдесят и проблемы с балансом калия. Виктория, меж тем, уверяла, что в нашем отделении лежат «тетки здоровые, как лошади, только со сдвигом». Это смахивало на правду, потому что всех серьезных сердечников и язвенников моментально перенаправляли в иные места.

В палате нас было шестеро: три Лены (вместе со мной), Вика, Саша и Марина. Одна из Лен лежала круглые сутки лицом к стене и на анорексичную общественную жизнь не реагировала. Ее медсестры, конечно, дергали – умыться, поесть сходить, всякие насущные анализы сдать. Лена вяло исполняла, и даже после еды не ходила метать за компанию с остальными дистрофичками. Но не поправлялась – ни в одном из смыслов. Вторая Лена вместе с Сашей обломались на модельной карьере, с чем и прибились к отделению. Марина – куда нам деться от жизненных закидонов – работала поваром.

Между двумя рвотными спазмами Вика поведала, что лежащая Лена (дословно) «угандошила своего ребенка». Она гораздо была развить тему дальше, но многодетная мать во мне победила сплетницу и, не до конца избавившись от могучего ужина, я сбежала в палату. Впрочем, из постоянных Викиных подколов в адрес Лены я не смогла

не почерпнуть следующее: гинеколог так ругала свою беременную подопечную за чрезмерную прибавку в весе, что та додумалась сесть на диету. Жесткую. Ребенок родился сильно недоношенный... Лена осталась без детки и потребности в еде.

Вика изрядно меня возлюбила, и я терялась в догадках – почему. Возможно, ее умилила моя архаичная способность упасть в обморок от дурных вестей. А может быть, это одинокое существо, уже осененное умиранием, тянулось к моей витальности. Все детные люди бессмертны, пока существуют их потомки... в самом простом, физическом смысле: кровь, гены и прочие наследственные дела. Да Бог с ними, с генами, просто мне моя малышня всегда служит подсветкой. Это волшебный свет: он скрывает и смягчает недостатки, а редкие достоинства начинают сиять подобно звездам.

В общем, дети меня и спасли.

Я упоминала, что поблевать – мы пользовались эвфемизмом «метать» – после приема пищи было здесь повальным развлечением: ослабевшие желудки отказывались принимать еду, почти всех «докармливали по вене» раствором глюкозы с витаминами. С нормальной же, общечеловеческой едой дела обстояли так. Встают девчонки из-за столов после завтрака, выходят в коридор, и вдруг одна, самая слабенькая, резко зеленеет и, шепнув: «Не могу, извините!» ковыляет из последних сил к заветной двери. А остальные – и я в том числе – чувствуют, как нежная овсянка слипается в нутре плотным комом и начинает свое победное шествие вверх. Навстречу свободе, значит. И бороться со злой кашей не представляется возможным. Так что все выходные я была в общей теме.

А в понедельник главврач пожаловал. Он был похож одновременно на Горбатого в исполнении Джигарханяна, на ангела (что Свете и Костику подмигивал в момент моего падения) и на дедушку, которого у меня никогда не было. Дед, конечно, был, но не тот, нет.

И вот эта странная смесь образов явилась мне в одном пожилом человеке, который полистал рядом с кроватью историю болезни и нежно сказал – через двадцать минут в пятый кабинет. Вика аж заныла от восторга, едва врач вышел:

– О, готовься, Ленка! Он тебя драть будет, железно...

– Конечно. А вас приветствует онкология, – попробовала съязвить я. Опять забыла, что лучше не делать того, что не умеешь. Со свиным-то рылом в калашный ряд заправских остряков...

Главврач Алексей Михайлович уютно устроился в кресле (попутно нажав кнопку на микроволновке) и склонил седую голову к плечу.

– Ну-с, Елена... Минус килограмм за выходные. Гемоглобин, правда, выправляется, на наших-то витаминах... Так. У вас трое детей, муж. И?

– Что – и? – не поняла я.

– У вас дети болеют? Муж пьет? – вкрадчиво поинтересовался Алексей Михайлович.

– Нет, что вы! Все здоровы, и Коля, то есть муж, он очень хороший...

– Тогда какого черта ты не жрешь?! – с места в карьер заорал ангелоподобный дед. – Где, я спрашиваю, причина? Что ты всем голову морочишь? Ты знаешь, какие девочки здесь лежат, с какими проблемами? Что за отчим был у соседки твоей, Виктории? Как безграмотная мамаша Александре в башку вбивала про сладкую жизнь моделей? У нас психологи с ними работают, специалисты высшего класса – они и на тебя свое время тратить должны?

Он вскочил и забегал по кабинету, пока я хватала ртом воздух и пыталась хоть немного сориентироваться в поведении. Наконец проблеяла:

– Я не успеваю.

– Что?

И тут Остапа – меня то есть – понесло.

– Я не успеваю есть! Вам-то легко говорить, вы с тремя детьми дома не сидели! А у меня Танюшка в садик не ходит, ей там плохо! С ней ведь заниматься нужно, учить хоть чему-то... И мелкие тоже внимания требуют, то памперс поменять, то укачать. И все домашние дела тоже на мне, Колька придет вечером, меня отдохнуть отпускает, а я с ног валюсь. Вы что, думаете, я есть сяду? Я на кровать падаю и сплю, и, и... – тут уж силы меня покинули, и я заревела, как маленькая.

– Ну будет, будет, – забормотал мой несостоявшийся дедушка. – Хватит сырость разводить. Посмотри на себя: кость широкая, сама статная. Тебя подкормить, и будешь – кровь с молоком, про усталость и не вспомнишь. Сейчас трудно, конечно, зато представь себе жизнь лет через пять, когда детки в школу пойдут. Ну? А ты собралась их сиротами сделать, не стыдно тебе? Говоришь – я из-за детей поесть не успеваю. Это что ж получается, твои дети тебя убивают, а?

От этой неожиданной трактовки я совсем завывала, а он все стоял рядом, гладил меня большой плоской ладонью по голове, и бормотал уже что-то утешительное...

Когда я слегка успокоилась, Алексей Михайлович вернулся в кресло и очень деловому сказал:

– Шашлык.

Я оторвалась от комкания сопливого носового платка. Заинтриговал.

– Кофе, а к нему – теплые сдобные булочки с маслом и вареньем. Каша с сухофруктами и сгущенкой. Потом чай, с маленькими солеными крекерами и сыром на отдельной тарелочке. Лично я предпочитаю «Пармезан», но сейчас любой сыр купить – не проблема. Отбивная с лучком. Картошка по-пушкински, картошка фри. Нежнейшее пюре со сливочным маслом. М-м, картошечка в мундире, во влажном пару, а к ней селедка малосольная. Осетринка отварная с рисом, пирожки жареные и пирожки печеные. Торт «Панчо», торт-мороженое, эклеры и еще этот, как его?.. тирамису... – он мечтательно закатил глаза, а я превратилась в собаку Павлова, известную своим мощнейшим слюноотделением.

– Шоколад черный и белый. – припечатал Алексей Михайлович. – Манку будешь?

Я только кивнула. Он вытащил из микроволновки тарелку с подогретой кашей и – клянусь вам! – ничего вкуснее в жизни я не пробовала.

– И запомни, – строго изрек главврач, провожая осоловевшую меня из кабинета. – Каждый раз, избавляясь от еды неестественным путем, ты блюешь на собственных детей.

Я стала толстеть. Как будто бы у меня был выбор...

За пару дней до моей выписки (я весила уже почти сорок восемь кило, и анализы получались все краше и краше) Вика позвала меня на прогулку. У нас все-таки не инфекционка какая-нибудь, из корпуса выход был свободный, только мы мало этим пользовались. По причине повальной немощности. Поодиночке же девочки старались никогда не ходить, разве что на встречу с родственниками. У меня, как у выздоравливающей, возникла обязанность выгуливать желающих. Завернулись мы с Викторией поверх пижам в плащи – она в какой-то шикарный брендовый, я же в Колин – и двинулись в осенний парк.

Не умею описывать природу, да я и не очень обращала внимание на красоты больничных кущ. Шла себе потихоньку, подкидывая волглые листья ногами, и мечтала о всякой жизненно важной ерунде: как мы будем с малышкой каштаны собирать в парке, и

каких человечков мы потом смастерим. Вика неожиданно вынырнула справа, помахивая сигаретой. Ага, это ее добрейшие мальчики из травматологии снабдили, в качестве аванса за кокетство. Симметрично загипсованная троица на скамейке – нога, шея, нога – провожала нас заинтересованными взглядами.

– Покурим?

– Я не курю. А тебе разве можно? – спохватилась я.

– Если нельзя, но очень хочется, то можно. Заботливая ты моя, – деланно умилилась Вика.

Мы свернули с главной аллеи и романтично пристроились под раскидистым дубом. Из желудей, кстати, для человечков отличные головы получаются, в готовых шапочках. Надо бы набрать про запас, в парке рядом с домом дубов нет.

Вика прикурила от громоздкой зажигалки и выпустила аккуратное дымовое колечко, зависшее в тихом воздухе.

– Интересно, как там мой отчим? – безо всякого любопытства произнесла она; я промолчала. – Я, знаешь ли, с ним спала. Довольно-таки регулярно.

Еще затяжка, потрескивание сигареты.

– Ну, чего уставилась? Как же меня бесят благополучные вроде тебя! Ах-ах, какой ужас, у моей деточки сопельки. Ах, какой кошмар, мой муж в аське переписывается с непонятной девицей. Ах, вот не буду больше кушать, заболею и умру! Противно смотреть.

Жадно, жадно глотает королевишна дым, и говорит быстрее, пока я не ушла или не прервала ее.

– Дерьма вы не пробовали, вот что. Каково это – трахаться с любимым мужем собственной матери? А его теперь, козла старого, инсульт разбил, лежит в кровати бревно-бревном. А мать из-под него говно вычищает и радуется, слышишь? Радуется, что теперь он точно от нее не уйдет...

Викины глаза закатились, и тлеющая сигарета упала на асфальт. Я затормошила ее, забила по щекам, но в ответ получила лишь слабое, частое дыхание.

– Помогите! – заорала я, выбежав на дорожку. – Эй, кто-нибудь!

Навстречу уже шкандыбалю, комично вразнобой покачиваясь на костылях, трио из травматологии.

– Да не вы! Ее нести нужно, зовите врача, санитаров! – замахала я на них руками. Мальчишки поняли. Развернулись к главному корпусу, где всегда полно медперсонала. Вика открыла глаза и потянула меня за руку, пришлось наклониться. И сильно напрячь слух, потому что шептала она почти беззвучно.

– Я с ним спала, потому что он от мамы уйти хотел. Я сказала – не надо, не бросай ее. Все, что хочешь. Он и захотел. Три года. А мама счастлива, и не узнала ничего. Лишь бы речь к этому козлу не верну...

К нам уже спешили медики-практиканты.

На следующий день я вошла после завтрака в палату. Саша, Марина и Лена-модель известно, где пропадали, а вот молчаливая Лена стелила свою постель. Впервые за все наше знакомство. Она обернулась на звук моих шагов и сказала:

– Ночью Вика умерла.

Я не заплакала, наверное, из-за нехватки жидкости в организме. Здесь дают ограниченное количество питья. Потому что анорексички частенько страдают отеками. Поворочала шершавым языком во рту и спросила, как прокаркала:

– Тебе лучше?

Лена сухо и с довольно уместным пафосом ответила:

– Она была моей совестью. Теперь я вылечусь, обязательно.

С тех пор прошел год. Мой постоянный вес достиг пятидесяти восьми килограмм, и жизнь, следуя обещаниям Алексея Михайловича, с каждым днем становится все легче, как в сказке. Хотя нет, как в сказке – это «все страшней». Значит, просто жизнь.

Рыба по имени Нина

Любите ли вы рыбалку так, как любит ее Нина?

Это проще некуда: прикорм, запуск червяка, подсечка, и – о, радость моя – упругая леска ведет добычу к берегу. А дальше по желанию; можно аккуратно вытащить крючок из хрустящей ломкой губы, рассмотреть и отпустить – плыви, рыбонька, всего тебе самого наилучшего, живи, если сумеешь. Можно бросить в пакет к остальному улову, вечером же пожарить и съесть. Караси хороши в сметане.

Этот человек, Нина зовет его про себя только так (этотчеловек), так вот, этот человек, конечно, тайный рыбак. Настоящие рыбаки всегда таятся, но не специально, сами-то они

играют по общедоступным правилам (прикормка, червяк, подсечка), просто окружающие теряют головы и осторожность. Этот человек появился на Нинином горизонте в конце мая, когда метель из пуха и соловьи. Соловьи Нине нипочем – пубертатный период давно позади, так что до балды ей орнитология, – а от цветущего тополя чешется лицо. То есть ботаника ей тоже неинтересна.

А интересно ей подзаработать как следует денег, поднапрячься финально перед отпуском, и таки поехать на недельку в Подмоскovie, которое больших затрат не требует: бюджетный вариант. Но с небюджетным таким приложением, приложение – это мадам Ширяева, профессиональная сиделка, которую придется на время отпуска нанять круглосуточно, что стоит немало. Можно и не нанимать, и прожить без отпуска – а что? Ну живут же как-то люди (думает Нина). Думать думает и берет, тем не менее, сверхурочные.

Этот человек повадился провожать Нину с работы. То есть поначалу это была Нинина работа, он-то появился много позже, как раз в мае – тоже, видимо, решил поднакопить деньжат перед летом. И буквально впился в Нину глазами, в первый же день трудовых свершений.

На прикормку лучше всего брать свежий хлеб. Лучше всего – не значит, что обязательно, некоторые и вообще без этого обходятся, и ловят. Но ловят абы что: мальков всяких, мелкоту костлявую, кошачий корм. Уважающую же себя, достойную рыбу следует подманивать. Так вот, хлеб – а чтобы он стал более пахучим, его надо изрядно промять руками, хорошо бы и с нашатырно-анисовыми каплями – крошат в воду и потом уже занимаются снастями и червяками. А рыба думает, что это дар природы и привет от бога Посейдона, медленное падение манны с текучего зеркального неба на илистое дно. Рыба лакомится свежим хлебом и кайфует.

Этот человек угощал Нину дружбой – и какой! Замешанной в идеальной пропорции на внимании, сострадании, веселье и приправах вроде легкого стёба и несогласий; вкусной дружбой без консервантов и красителей, дружбой умного человека с равным ему. То есть он таким образом как бы убеждал Нину, что она тоже человек, а не рабочий агрегат по обслуживанию двух инвалидов и мадам Ширяевой. Нина слушала себя, эхом отраженную от этого человека, и узнавала – вот она я, вся, и ну надо же. Они покупали в супермаркете возле работы три банки пива, одну Нине и две – ему, а для закуски пирожки с котятами, и потихоньку брели к метро; так осторожно это все начиналось. Время, время, почему же его

вечно не хватает, а еще свободы, но про свободу молчок. В случае Нины желать свободы – все равно, что просить смерти некоторых людей, которые инвалиды. Мамочка, сестренка, простите, не надо свободы, как вы тут без меня, все ли в порядке: одна молчит после инсульта, вторая – с момента наложения щипцов, то есть от рождения. А дружба растет как-то так, сама по себе почти что, и уже не вмещается в рамки ежевечерних двадцати минут до метро; дружбе (и мадам Ширяевой) Нина стравила часть доходов, добавила один разок к рабочей пятидневке субботу в компании этого человека, место встречи – Сокольнический парк. Пикник с другом и его друзьями.

Ну ладно, рыба отведала манны: самое время закидывать удочку с червяком на крючке. И тут уж никаких «лучше» – червяк должен быть живым, точка. Хорошая рыба на дохлятину не клюнет. В подводном мире, где все сине-зеленое, прохладное и слегка застывшее, красный червяк, выющий кольца на крючке, взорвет и вынесет мозг любой рыбе, она клюнет, она не сможет удержаться!

Нина уже сделала ручкой своему бюджетному отдыху, кому оно надо – Подмоскowie. В самом деле (думает Нина), лучше уж нанять, как и собиралась, мадам Ширяеву на полную круглосуточную неделю, а самой никуда не уезжать, остаться в городе и гулять с этим человеком, сколько влезет – он ее друг, единственный друг, разве это сложно понять? С кем дружить Нине, взрослой женщине, главе клана инвалидов, ну вот с кем? С матерью милых близнецов, бывшей однокурсницей? С очень культурной женщиной из отдела кадров, не пропускающей ни одной театральной премьеры? С новой сотрудницей, выпавшей из института с красным дипломом в белых зубах? Ни с кем нет точек пересечения, только с ним, только с этим человеком, фрилансером сложной судьбы, которого ветром кризиса, о удача (думает Нина), занесло в унылое госучереждение. И Нина все устроила, вырвала со стыдом у жизни десять дней: вот! Домой – только ночевать, так она и сказала этому человеку, и он сказал ей – гуляем, Нина! А через четыре часа пал, пьяный, перед пьяной же Ниной на колени и выдал. Про бессмертную, чего уж там мелочиться, любовь.

Кто знает, почему рыба бросается на червяка? Ведь была уже прикормка, уже могла бы она, рыба, твердо заявить что-то типа «спасибо, мне довлеет», но нет. Бросается и жрет, невзирая ни на что. Да просто хлеб хлебом, а сочный живой червяк – червяк, блин, совершенно другая тема...

Нина отмела этого человека сразу, разве что только не отметелила, хотя говорил он красивыми простыми словами: моя любовь, о моя радость. Хриплый баритон, легкий налет драматизма на всем облике – зачем? По правому и левому борту его моторки машут платками бывшие жены и иные женщины в ассортименте, какие-то дети там же; он мчится от конференции к бьеннале и потом еще куда подальше, а у Нины максимальный кайф – выехать в воскресенье с удочкой к неоскверненному водоему. Нина посмотрела на их отношения под предложенным неожиданным углом, и не увидела больше точек пересечения. Ни медицинские утки, ни пролежни, ни мадам Ширяева не могли сойти за связующие звенья, то есть Нину-то они отлично связывали, но только с домом, только с кланом, а больше ни с кем.

Пусть все будет, как прежде (думает Нина), что на первый взгляд кажется возможным: этот человек не очень удивился Нининому удивлению, руками не хватал и простился довольно спокойно. У него интересная жизнь, его любят многие и многое могут ему дать, в отличие от Нины.

Не стоит в спешке дергать удочку, едва только заколебался поплавок – рыба еще может уйти на глубину, зарыться в испуге под разбухшую корягу. Момент для подсечки нужно прочувствовать сердцем; это сложная задача для новичков и ерундовая – для истинного рыбака. Тихо-тихо, подождем, рыба пока что примеряется, она тоже играет, хотя, по большому-то счету, рыба судьба уже решена.

На второй день, считая от похмелья, Нине пришло сообщение на телефон. Письмо от этого человека, не влезшее в форматы одной смс; сообщение в пяти томах. «Потому что не, потому что не», – бормочет Нина, судорожно открывая следующую смс: «т никого ближе и роднее тебя», дочитывает она: потому что нет никого ближе и роднее тебя! Нина пропала, попала посередине между предательством и любовью; эпистолярный жанр нынче не в моде, она получила первое за долгую жизнь любовное письмо, пусть и в оцифрованном варианте. Звони же мне, звони мне, звони – это такая как бы песнь песней в стиле панк, исполняется визжащим Нининым голосом, волосы дыбом (ирокез). Днем и ночью глаза навывкате: звони! А я тебя попрошу – отпусти меня, старче, компенсации тебе за то не будет, просто отпусти и все.

Но иногда получается плохо, плоховато иногда выходит: глупая рыба, жадная рыба, рыба с большим красиво оформленным ртом глотает крючок прямо в желудок, мимо специально для того крючка предназначенной губы. Что это – производственный брак или

все-таки травма, с чьей стороны взглянуть, как понять? Нет ответа, и приходится тянуть за леску, поначалу с сомнением и жалостью, слабо, а потом все сильнее, единственно желая закончить это кровавое дельце хоть как-нибудь. Вот захрустело, крючок двинулся к выходу, волоча за собой небогатые рыбы потроха; а хозяйка потрохов молчит, удивленно вращая глазами, как бы говоря: ну и дела! Кстати, жабры изнутри похожи на гармонь.

Тут Нина уже сообразила, что этот человек – рыбак, а она рыба, хотя бы и золотая, но на глубоком (после мобильного собрания сочинений) крючке. Такая вот с нею произошла метаморфоза: за городом – охотница, здесь же – добыча. Поздно, ей дорога леска, дорог и червяк, она их почти переварила, сделала частью себя, так что толку от понимания ситуации ноль. А где же рыболов? Не звонит и больше не пишет, выдал на-гора, что имел, и пропал. Нина бродит по Капотне, где-то здесь временно проживает этот человек, точный адрес неизвестен. Если они случайно пересекутся, Нина скажет: а я тут ну гуляю, дышу свежим воздухом (в Капотне), надо же, какая встреча. Какая чудесная, невероятная встреча, но чудес не бывает, и Нина впадает в ярость. Звонить первой никак невозможно, где это видано, чтобы рыба сама впрыгивала в объятия рыбака? Вот только один твой звонок, ну пожалуйста (думает Нина), и уж я как следует все объясню, перегрызу на глазах у изумленной публики леску, выплуну крючок в наглые невинные глаза. Получи, фашист, гранату.

Крупная рыба в сердцах мечется туда и сюда, задача же рыбака – вымотать ее, ведя незаметно, о радость моя, все ближе к берегу, пока не устанет. Пока не захочет, чтобы все закончилось, без разницы, чем.

Когда этот человек позвонил, ничего не сказала рыбка, а только бессильно обрадовалась.

Две сотни

Чтобы написать историю, всегда нужно определить исходную позицию, то бишь – из чего вся история произошла. Иные так богато начинают, что и думать особо не надо: например, некто умер – и пошла плясать губерния. Но это когда как.

Другой раз просто голову ломаешь в поисках настоящего, не ложного, начала, и порой приходится ползти от рождения, а то еще хуже – от момента зачатия, беспардонно копаясь в интимных подробностях и тэдэ. Ну фу.

Эта же история проистекла совершенно явно из случая в гипермаркете, куда по выходным съезжаются тысячи московских семей для осуществления продовольственных закупок.

Мясо надо? Надо. Пельмени там, замороженные овощи берем? Берем. Мыло, мыло у нас кончилось, а мы без мыла куда – никуда! Бери и мыло, ладно. Все бери, а там разберемся.

Такова была средняя тональность народных масс, и так же перекликалось внутри себя обычное семейство, в котором жена, она же Героиня, она же Ге для краткости, и муж (Ме, хотя и он герой хоть куда, но Ге уже занято). Семейный ребенок в тот момент прожигал жизнь в пионерлагере. Ге считала, что пионерлагерь звучит пусть атавистично, но таки лучше, чем просто лагерь. В последнем ей слышались солженицынские напевы, какие не изничтожались довеском «летний». Но это не очень важно.

А что тогда важно? Что важнее всего прочего в бренном мире? Доброта, вот что, и как раз у Ге она была. То есть Ге считалась в своем кругу добрым человеком. Например, если кто из ее сослуживцев прихварывал, она тут же звонила с сочувствием – а вот не купить ли вам чего? а вот не привезти ли лекарств? И какая разница, что звонки раздавались не в квартирах одиноких позаброшенных стариков, а вовсе у изголовий таких же, как Ге, семейных людей среднего возраста. То есть Ге проявляла доброту без малейшего для себя риска: был, всегда был у ее абонентов надежный тыл, который и подушку поправит, и за аспирином метнется – но это, в самом деле, мелочи. Это уже так.

И всяких добрых жизненных принципов у Ге было – эге! Например, она никогда не проверяла чеки, принципиально не проверяла и даже просто не смотрела в них – ни в ресторане, ни в магазине, ну нигде. Контрольными весами, опять же, не пользовалась. Ведь некоторые что на рынке вытворяют: подойдут к продавцу, закажут сто грамм каких-никаких огурцов и прямо в лоб – вы вешайте, вешайте, только учтите, что я пойду и перепроверю, на контрольных на весах, да. То есть они с ходу намекают, что продавец есть серийное хамло и обманщик. Но не Ге! Доверие – это ведь у нее следующее по важности за добротой. Было.

И вот ходили Ге и Ме по гипермаркету, толкались туда-сюда промеж товаров своей железной телегой, как внезапно у Ме (игрою случая или, что вероятней, несвежей колбасы) скрутило... впрочем, к чему здесь анатомические подробности. Ме в срочном порядке покинул места изобилия, Ге же расплатилась и принялась его ждать. А скучно же!

С нагруженной-то тачкой по бутикам особо не поскачешь; одно и остается – стоять, что солдат у перекопа. И Ге, безотчетно и машинально – ну ясно, сложно себя контролировать, когда люди вокруг делают как раз вот это вот самое – заглянула в чек.

Когда Ме, посвежевший и немного смущенный, вернулся к Ге, последняя была не то чтобы печальна, а как бы...

– Я фраппирована, – так она сказала Ме, подрагивая глазами и голосом. – Мусик, сколько творожистых штук мы взяли?

– Две, – с уверенностью ответил Ме.

– О, – теперь у Ге задрожали и тонкие пальцы, в которых был чек. – О, а нам их пробили десять!

– Да, Гусик, – сказал Ме, освидетельствовав документ. – Так и есть, десять.

– Это ж на сколько же ж денег-то нас обсчитали, – слабея, сказала Ге.

– Ну так. Сотни примерно эдак на две, – ответил Ме и вздохнул. Он не любил проблем.

– Две сотни на дороге не валяются... Слушай, а может, они и раньше, ну, ошибались? – тут круглые глаза Ге стали немножко квадратными.

– Всякое может быть, – сказал истинный философ Ме. Даром он, что ли, читал гуманитариям лекции в частном университете.

Ге почувствовала себя как есть оплеванной, и ощущение это было не из приятных. Кроме того, в душе росло кошмарное, несовместимое с добрыми жизненными принципами подозрение.

– Это нелогично, – пробормотала Ге. – Совершенно нелогично.

– Что, Гусик?

– Говорю, что пробивать десять творожистых штук вместо двух совершенно нелогично! То есть это явно сделано специально!

– Все, что делается специально, подчиняется логике, Гусик, – флегматично сказал Ме, но Ге проехала умное замечание.

– Я понимаю: можно нажать какую другую цифирю вместо двойки, к примеру, пять или три. Да хоть девять! Ну бывает, ну палец соскользнул. Я пойму, если вместо двойки пробьют двадцать. Лишний ноль, что опять же бывает. Как бы, допустим, голова болела у человека, да мало ли. Но как превратить цифирь два в десять – этого я не понимаю, хоть режь меня, Мусик, не понимаю!

– А чо тут понимать-то, Гусик, – сказал Ме, которому все это изрядно поднадоело, подзадолбали то есть его стоны его же жены, – нормальный побочный заработок, ну?! врубилась?

Ге покрылась красными пятнами в прямом смысле и всякими печальными непечатными штуками с упоминанием штук творожистых – в переносном.

– Ну уж нет уж, – сказала она. – Вот уж хрен уж. Хрен вам, а не побочный заработок.

И пошла к кассирше, и ткнула ей в усталое рабочее лицо чек, и объяснила, как нехорошо обманывать добропорядочного, да чего уж там – просто доброго и доверчивого человека. Злых обижать надо! Лживых, вороватых! Таких вот, как эта кассирша, кстати; таких обижать – пожалуйста! А вот добрых – грешно.

И так она пламенно и огненно толкала свою речь, что многие остановились послушать, даже и какие-то административные магазинные чины приползли. Чины вернули Ге две уворованные сотни, вручили купон на скидку, кассиршу же посулились уволить – а и правильно, решила Ге. Она, воровка такая, даже ж не плакала, то есть, очевидно, не раскаивалась, просто смотрела на Ге тупыми своими пустыми глазами.

Но и для Ге инцидент не прошел бесследно, нет, после него Ге уже стала другая. Чеки проверяла обязательно, зарплату и сдачу пересчитывала по несколько раз, и ежели находила обман – радовалась, как ребенок. Потому что она так и знала, и опять не ошиблась!

Пасьянс

Все окружающие люди воображают себя кем-то. Тата, к примеру, думает, что она – Мать Инвалида. Так и говорит, когда мы с ней бываем в Общественном Месте: вот ведь сволочи, хоть бы кто в очереди Мать Инвалида пропустил! И также: я – Мать Инвалида, как вам не стыдно! Еще она воображает себя злой, и оттого часто ругается, но получается нестрашно. А соседка Галюша с пятого воображает себя Красавицей. Придет, вся в блестящем, улыбается острым ртом, пахнет сиропом. Даже мураши от нее по спине – бррр! Разве красавицы такие? Еще некоторые люди любят воображать про других. Например, говорят, что у меня есть синдродауна. А вот нету, я везде ее ищу и никак. Так что, да. Напридумывают себе, и с этим живут.

Разубедить кого-нибудь, ну вот Тату, никак невозможно, я пробовала. Начинает злиться, и держится за свое – ой-ей! Да и некогда мне – работы постоянно, по Татиному выражению, хоть жопой жуй. И еще я люблю Тюньтю. На это тоже надо время.

Раньше я не работала, только ждала, когда. И вот, пришел Толиваныч снизу, принес Компьютер. Говорит, а не надо ли вам, за так. Через него я вам телевизор подключу. То есть Толиваныч нам подключит. Толиваныч воображает себя Деловым Человеком, но я-то знаю, кто он. Ему, правда, не говорила, забыла. Пока Толиваныч делал компьютер, я тоже немножко повоображала, будто мне все, по Тате, до лампочки. Он мне сказал – иди сюда, милая, смотри, как тут и что. Это – пасьянс, называется Косынка. Масти черные и красные, красное на красное класть нельзя, и черное на черное тоже. А сюда можно. Сначала убираешь тузы, на них двойки. А дальше я уже не помню, кто есть кто. Запомнила только картинки и думаю: ага.

Работа моя называется не знаю как. Вообще похоже на Бога, но по-другому. Во-первых, Бог всемогущ, а я не очень. Иногда ничего не выходит, хоть тресни. Потом, Бог живет в церкви, а я дома. И еще, я девочка. У меня работа, как у боговой дочки.

Однажды у Галюши заболела собака Белка. У Тюньти тоже есть собака, ее зовут Конь. Почему? Я думаю, что она большая, огромная, как конь, и так же быстро бегают. Может быть, ржет. Тот конь в зоопарке скакал и ржал, как оглашенный (Татино). Конь у Тюньти не хворает, и, в общем, это хорошо – одной заботой мне меньше.

И вот, приходит к нам Галюша, но уже не Красавица, а почти настоящая. Любое настоящее – это хорошо. Плачет, кричит: плохо моей Белке, ветеринар велел уколы каждые два часа, Танечка, а вдруг, она умрет? Когда люди плачут, мне почему-то худо становится, тоже хочется завывать (Тата говорит – ну, опять завывала, Горетымое). И я подумала: если сейчас пасьянс сложится, Белка выздоровеет. Потому что она нужна Галюше. Но Косынка – раз – и не сложилась. Тогда я подумала: пусть пасьянс сложится у меня до ужина. И сидела, складывала, пока Тата не сказала: пора есть, бросай ты уже свой Компьютер. И вот буквально в последнюю минуту у меня получилось! Пасьянс сложился: решил, что Белка будет здоровой. И точно. Потом мы с Татой встретили Галюшу с Белкой у подъезда, они гуляли. Галюша опять была Красавица. Говорила Тате – это чудо, чудо, вот только что лежала на смертном одре, и нате! Все прошло, и Белка здорова. Так у меня появилась работа.

Я уже много чего сделала, не перечислить. Но порой работа не получается. Оно и к лучшему, ведь, если бы я могла все, мне пришлось бы переехать в церковь. А я не хочу. Чаще всего не получается то, что себе. Однажды мы с Татой увидели туфли. Такие туфли! С пряжками, блестят, и на Каблуках. Очень красивые. Тата сказала: ага, щаз, пошли лучше кефиру купим. Ну что кефир, выпил вечером, и нет. А туфли... Я долго пыталась сложить Косынку – пусть бы они стали моими. Все без толку. Так я осталась без туфель, но, если честно, Тата права – я же не босиком?

А потом я опять увидела по телевизору (который Компьютер) Тюньтю. Тюньтя – очень важный человек, хозяин любого Общественного Места. Потому его и показывают в новостях. Тата всегда смотрит новости, и я тоже: а вдруг там Тюньтя? Потому что я его люблю.

В тот раз Тюньтя говорил не очень складно. Он вообще-то не умеет просто донести свою мысль. Путается. Это потому что у него слишком много дел. Но мне стало ясно: Тюньте очень важно, чтобы какая-то Олимпиада была в Сочи. Кто такая Олимпиада? Не Олимпиада ли Ивановна, начальник Общественного Места Еирц? Зачем она нужна в Сочи? Не знаю. Тата давно обещает меня в Сочи свозить, но пока никак. Забывает.

С другой стороны, какое мое дело, зачем Тюньте Олимпиада? Раз любимый человек хочет – вынь да положь (по Тате). Тата начала в телевизор ругаться: на хера козе баян, им лишь бы бабки отмыть. И еще много странного. Из ее слов выходило, что Олимпиада – это просто сборище тупых бездельников, а вовсе не имя. Еще она кричала, что синдродауна как раз у них, а не у меня. Обрадовала. А то на поиски тоже время тратишь.

Я на всякий случай села поработать. На всякий случай – потому что Тюньтя сильный и сам может со всем справиться. Раз, а Косынка-то не сходится! И два, не сходится. И вообще никак. Никакой такой Олимпиаде в Сочи не быть. Тата звала-звала меня обедать, но нет. Вечером Тата на меня накричала, компьютер погасила, а потом сама же плакала, что обидела. Мы с ней вместе повыли и помирились. А наутро я опять села.

Уж и не помню, сколько дней я работала. Больше трех, это точно. Тата говорит – ну ты что, посмотри на себя! Похудела вся (я, не Тата). Вот, говорит, пусть Толиваныч забирает чертов ящик, ишь, приучил. Из-за ее криков я временами даже путалась с Косынкой. То есть раскладывать-то раскладывала, но думала о другом, не о Тюньтиной Олимпиаде. Ужасно.

А позавчера вечером получилось! У меня срок был до вчера, потому что тогда принимали решение. И тогда днем Косынка согласилась: пусть будет Олимпиада в Сочи, на радость моему Тюньте. То есть он не мой, он для всех, но не важно.

Вчера я даже новости не смотрела, и к пасьянсу тоже – ни ногой, так глаза болели. Тата удивлялась: ну и дела, тебе что, неинтересно – выиграли Сочи право на Олимпиаду? А чего интересного, я знаю, что выиграли.

И так и было.

...И гости столицы!

Воздух в плацкартном – плотный и острый. Тут смешались запахи перекуренного тамбура, похмельных мужских ног, яиц вареных и, опять же, похмельных и – надо всем, надо всеми – царил аромат вагонного туалета, царил, как Иван Грозный какой-нибудь царствовал над страной: жестоко и беспощадно.

Но люди в плацкартном были стойкие, какие обычно в плацкарте и ездят; соль земли. Что там чем пахнет их едва ли могло заинтересовать и, уж тем более, отвлечь от перекуса и запивания.

Она сидела у окна, отдуваясь после третьего стакана чая, она – Валентина Николаевна то есть, полная женщина, с какого боку к ней не подойди. Имеется в виду: внешне и внутренне до полна наполненная.

– Вы кушайте, кушайте, – угощала она вывернутой телом навстречу миру курочкой застенчивого алкаша средних лет, и он и кушал, а чего ж. Валентина же Николаевна успевала между прочим надоить из титана следующий стакан кипятка, угостить вагонного ребенка (бери яичко, какое на тебя глядит, кушай) и простодушно поведать всем соседям, что сама она с-под Волгограда, с поселка Иловля, который вам не просто так, а и городского даже типа; и что едет она теперь вместе со всем поездом в Москву, в которой в Москве проживает ее доча студентка. Проживает и учится, и все у нее очень и очень, но только вот домой к маме не пускают, не пущають дела и обязанности.

– Буряков ей везу квашеных, любит она их, – делилась Валентина Николаевна с размякшими от жары соседями, сама себе поясняя, уговаривая себя в сотый раз:

– В Москве-то ихней всё купишь, так то ж не домашнее, – и подталкивала закемарившего было алкаша, – вы что же, вы кушайте, угощайтесь, помидорку вон берите.

Так говорила всеобщая мать вагона, но о важном все-таки молчала, хотя чисто теоретически, выступая в роли полной кошелки и клуши, могла бы порассказать. Порассказать бы, что везет доче крупную (двадцать тысяч, месяцы на сборы) сумму, а чтоб не протратилась, сумму упрятала в платок и бюстгальтер (насисьник по ее терминологии), и сумма теперь давит вот точно прямо на сердце. Порассказать, что доча уже год как в той Москве и за всё время – одно только письмо, да и не письмо, так, записочка, а я хожу-хожу на межгород, звоню-звоню, а она: ой, ма, мне некогда, все хорошо. И то не каждый раз дозвонишься; какая-то практика, какие-то такие дела. Международный университет международных отношений, вот вам (МУМО, – откомментировал бы алкоголик и разворошил зубами курицыно бедро).

Но был же у Валентины Николаевны специальный внутренний шлагбаум, какой встроен в некоторых людей и не дает им жаловаться напрапалую туда и сюда; у таких людей на первый взгляд все прекрасно и все им завидуют днем – вечерами же близкие отпаивают их каплями пустырника (а одинокие отпаиваются самостоятельно). Поэтому, когда поезд внепланово замер на унылом безымянном перегоне и стоял несколько часов (ща поедем – говорил проводник, – ща-ща-ща), и темы для разговоров иссякли, Валентине Николаевне приходилось несколько раз обрывать себя на самом же начале, а именно после вздоха:

– Ох, тяжело-то как!

И оставалось неизвестным для соседей, почему именно тяжело – из-за колючей крупной суммы на грудях или от тоски по доче; более того, на участливый «чего так» вопрос им подсовывалась фальшивка (якобы вагонная духота), но фальшивка добротная. Действительно, все потели; воздух вяло переливался через края застывших окон и, казалось, снаружи пах все тем же вагоном.

Из-за этой вот непредвиденной и, по согласному решению пассажиров, подлой остановки поезд прибыл в Москву в половине третьего ночи, и уж таксисты этому радовались не пересказать как. Только напрасно: поезд все же был плацкартный с трехзначным номером и буквицей, а в таких поездах люди ездят стойкие и тэдэ, сэмэ начало.

Валентина Николаевна со всеми обстоятельно попрощалась, со всеми, кроме застенчивого алкоголика, который еще на непредвиденной стоянке канул в направлении третьего вагона, где, по слухам, «было», и так и не вернулся. Таксисты с таинственным

подтекстом шептали ей: мамаша, подвезти не нужно; а один даже крикнул – сестра, с именно что с таким вот произношением, – и добавил: за тысячу, скажи, куда. Валентина Николаевна отмолчалась, скромно потупив глазки.

В гулком зале ожидания бодрый голос призывал дорогих москвичей и гостей столицы в ресторан-казино, и Валентина Николаевна заслушалась перечислением тех блюд, каковые можно было у них, в ресторане, отведать, а кошелку эта кошелка, клуша, прислонила к стене. В кошелке-сумке, помимо личной какой-то интимной клади Валентины Николаевны, таилась пара трехлитровых баллонов с квашеными буряками, то есть, в московской интерпретации, две банки с маринованной свеклой.

Рядом же вдоль стенки топтался снулый паренек, и дотоптался таки до места расположения обеих кошелок (большой и малой), а когда потек далее на выход, на месте осталась только та кошелка, которая Валентина. Причем обязательно Николаевна в силу возраста. Она от подобной неслыханной в Иловле простоты утратила и речь, и все двигательные функции за исключением бесполезных пассов руками, которые как бы означали собой нечто из античных трагедий: вернись, Одиссей.

Исчез за поворотом.

Ноги у Валентины Николаевны разом ослабли, она заплакала – вот тебе и дорогие москвичи, вот и гости же тебе столицы. По залу бродили отверженные таксисты, расплзались по укромным местам ждать следующего прибытия.

– Что, сестра, поедem? – спросил знакомый голос. – Не плачь, поехали за семьсот.

– У меня сумку украли, какой-то парень подошел и просто так унес, из-под носа унес, – сказала невпопад Валентина Николаевна и совсем разрыдалась: шлагбаум сломался! – Ох, серденько колет, мочи прям нет!

– Вай, вай, – покивал таксист и снова задудел свое, – а куда ехать тебе?

– На Загородное шоссе, – заученно ответила Валентина Николаевна и шмыгнула носом. – Да я не поеду.

– Поедем, за так довезу. Меня тоже обокрали, когда я только сюда приехал.

Валентина Николаевна пошла за таксистом к выходу, смутно ворочая так и сяк мысль, что деньги-то у нее есть и есть как бы что дать новоявленному брату, а все прочее с ее стороны нехорошо. Он же, поди, и представить не мог, где обретаeтся крупная сумма и что сумма до сих пор при (на) теле.

Благими намерениями вымощено у кого что, а у Валентины же Николаевны, оказалось, – дорога к сумке, которая валялась сирота-сиротой, кошелка-кошелкой недалеко от выхода из вокзала в прохладном свете белых фонарей.

– Сумка, сумка! – вскрикнула Валентина Николаевна как-то уж чересчур с надрывом и поспешила на толстых ногах к обретенному вновь имуществу. При ближайшем рассмотрении имущество оказалось порядком изнасилованным: все вверх дном; и – главное, главное! – один из баллонов треснул, протек бордовым маринадом на байковый Валентины Николаевны халат, на ее же тапочки и прочие наряды. Кошелек с мелкой денежкой на дорогу и фотографией дочи вовсе не было.

– Дэнги вытащили, остальное бросили, у меня тоже так было, – сказал таксист.

Вдвоем они завернули подтекающую сумку в пластиковый пакет, нашаренный в багажнике, установили ее нежно и прочно в салоне машины. Валентина Николаевна расположилась рядом, изнывая от невозможности взять многострадальную кошелку на колени, придерживая ее хотя бы ногами, бедняжку. По салону разливался нажористый дух маринада, и таксист даже крякнул:

– Эх, сестра, кому такой гостинец везешь?

Валентина Николаевна охотно рассказала про дочу студентку, про буряки и МУМО (может, МГИМО, у меня там племянник, сказал таксист – нет, Международный университет международных отношений, В.Н. точно касательно дочери), и в порыве великодушия добавила:

– Один баллон вроде цел, возьмете?

– Зачем мне? – сверкнул зубами таксист, у которого сын занимался как раз грузинскими соленьями, узбекскими сухофруктами и кое-чем еще, но совсем уж иностранным и самым прибыльным: безмолвные темноликие женщины целыми днями надрезали высушенный урюк, чернослив, инжир, с ловкостью ювелиров вкладывали белую сыпучую начинку, закрывали края – что ему твой жалкий маринованный буряк, сестра?

Минут через двадцать, на широком залитом искусственным заревом проспекте таксист вдруг резко сбросил скорость и пояснил:

– Голосуют.

И действительно, стояли двое мужчин, совсем маленькие и одинокие на фоне огромного здания, водруженного с неясной архитектурной целью на ноги-колонны – то

есть для москвичей эта цель была неясна, а Валентина Николаевна, всю жизнь проведенная под Волгоградом, сразу поняла: на случай наводнения.

Один из мужчин просунул голову в окно:

– Командир, в Марьино едем?

– Полторы.

– Идет. Лех, за полторы нас берут! – гаркнул мужчина наружу и открыл заднюю дверь, и наконец-то увидел Валентину Николаевну, которая вообще была женщиной заметной, но тут как-то до последнего момента ее не замечали.

– Ё, – изумился мужчина и сказал водителю уже через заднюю дверь. – Слы, командир, а куда мы сук грузить будем? Не пойдет.

И дверью хлопнул, отошел от машины. Таксист барабанил пальцами по рулю.

– Зачем им сук ночью? – спросила В.Н. больше саму себя; в принципе, хороший крепкий сук всегда в хозяйстве сгодится, а если сучьев много – можно изгородь какую соорудить-возвести на участке, или Михалычу заказать...

– Это они про телок, – рассеянно сказал таксист, по-прежнему не трогая машину с места. В нем, очевидно, велась тяжелая внутренняя борьба, и Валентина Николаевна всенепременно бы это подметила, но перед ее замороженным сонным взором разворачивалась картина марьинской аркадии: обнесенный беленькими ошкуренными сучьями широкий луг, где пасутся телки, возможно что и с телятами, тем самым доказывая – всюду возможна нормальная жизнь, буквально везде!

Борьба таксиста была не так, чтобы очень долгой: добытчик, как существо более жизнеспособное, победил благодетеля.

– Сыстра, не в обиду, выйдешь тут? – сказал он, с душою глядя на Валентину Николаевну в зеркальце заднего вида. – Это Большая Тульская, тебе близко.

– Да, да, – как-то даже растерялась эта клуша, иловлинская кошелка, бесплатно расслабившаяся было на плюшевом на диване.

– Ребят, поедem, женщина тут выходит! – выскочил таксист и помог выбраться пассажирке с мокрой сумкой в отведенных от туловища руках, а ей навстречу уже шмыгали в салон какие-то девушки, которые непонятно откуда, из каких таких щелей повылезли, не то что неприлично одетые – совсем почти раздетые девки на огромных каблуках, с голыми животами и ногами; так это они про девушек так говорили, поздно спохватилась Валентина Николаевна. Одна из девок, проскочивших перед ней подобно

кошмарному сну, была похожа на дочу – рослая, с крепкими плечами и бедрами – но не она, конечно, не она. Доча сроду не носила таких бесстыдных тряпок, таких туфель с прозрачными каблуками-кинжалами, не красила русые волосы в белый цвет и вообще ничего не красила – по крайней мере, вот так вот, как эти. Сон мелькнул и пропал, мужчины же погрузили сук, умостились с радостными воплями внутри машины. Последним сел таксист, напоследок снабдив, добрый человек, Валентину Николаевну торопливой инструкцией: сейчас прямо до трамвайных путей, и налево, и по путям, и мимо пруда, и совсем, савсэм-савсэм, недолго. Чао, бэби!

Недолго по меркам Иловли отличается от московского недолго, но таксист-то этого не учел, да и не бывал он в Иловле никогда, он был родом из Тбилиси, что ли, из большого тоже столичного города. Так что когда Валентина Николаевна добралась до нужного дома, в котором съемная квартира, в которой доча, в которой всё, уже рассвело и проснулись вороны-москвички, по звуку неотличимые от родных иловлинских ворон.

Дверь ей открыла как бы родная сестра (сыстра) тех девушек с проспекта: разукрашенное лицо, оранжевое загорелое тело отовсюду из-под кружевного платья – не платья, халата – не халата, ноги в каблукастых богато расшитых золотом шлепанцах:

– Вам кого?

– Лиза Соловьева здесь живет?

– Элиза, что ль? Ну. И че? – и пухлыми губами тонкую сигарету цоп, чирк, затянулась.

– Я мама ее, Валентина Николаевна, – сказала Валентина Николаевна и сделала легкое движение на вход. Девушка не восприняла, не уступила дорогу, не прониклась почтением.

– А-а. Так ее все равно ща нету.

– А где ж она? – растерялась Валентина Николаевна. – В пять-то утра – где? В МУМО на практике?

Девушка сильно закашлялась, нагнулась вперед, едва не уперевшись лбом в мягкое брюхо Валентины Николаевны, постояла в странной позе, сотрясаясь: это она так от души смеялась. Порадовавшись, девушка хрипло подтвердила:

– Ага. На практике. Днем вернется, – и закрыла дверь, оставив феерическую эту клушу, кошелку-путешественницу в подъезде.

Второй раз за ночь столкнулась Валентина Николаевна с неприемлемым в Иловле поведением: вот соседка дочи, наверное же та самая однокурсница, о которой доча упоминала по телефону, взяла и не пустила ее на порог, ее, маму подруги, не абы кого с улицы; уму непостижимо. Буквально как ответ эти на сетования, из квартиры раздалось удаляющееся:

– Да никто. У вас еще час остался, хотите...

А дальше уже стало неслышно.

Ну ясно, она там просто не одна, с кем-то по делу, видимо; молодежь нынче такая – вкалывают и днем и ночью, зря говорят про них: бездельники, бездельники. Валентина Николаевна спустилась на площадку возле окна, поставила влажную пахучую сумку на пол и привалилась телом к подоконнику, устраиваясь поудобнее – ждать дочу с практики.

Грудничковый день

Если непривычный человек попадет в поликлинику в грудничковый день, его может укачать – и сразу по нескольким причинам. Нет, детский крик тут ни при чем; младенцы вообще-то редко кричат на руках, ну, после прививки могут поголосить, и только. Попискивания, да, раздаются; порой какой-нибудь подуставший бунтарь взвизгнет и тут же притихнет, успокоенный – а вот так, чтобы ребенок истошно орал, переходя в область практически ультразвука, да долго, этого нет. Этим легендарным воплем чайлдфри любят пугать непосвященных, и врут, как в пионерлагере про черную-черную комнату. Ну да шут с ними, с чайлдфри, их в детской поликлинике не встретить, к удовлетворению сторон.

Мамаши с младенцами ходят перед кабинетами, приседая на полусогнутых; кто-то вообще чуть не с плясками и напевами – ай-люлю, ай-люлю, нашу Дашеньку люблю – кто-то чеканит шаг, и от этого вот мелькания, приседания, кружения у человека со стороны может случиться легкая немочь. Как бы морская болезнь.

Папашки – а их в грудничковый день в поликлинике видимо-невидимо, это потом они наиграются и отдадут потомство на откуп детским садам и школам – ждут на подхвате. Когда утомленная мать свеженького семейства сгружает чадо отцу, тот вскидывает картинно ребенка на вытянутых руках к потолку: а кто это у нас такой серье-о-о-озный? а кто это у нас такой краси-и-ивый? Младенец доволен, папаша горд собой: вот,

мол, какой я могучий; но руки-то уже дрожат, что неудивительно – семь килограмм, конечно, не вес, коли это удобная в перехвате гирия, но ребенка, в отличие от гири, нельзя сильно сжимать и ронять тоже нельзя. Словом, дрожат руки, и тут в роли неожиданного союзника выступает сам наследник, которому надоело болтаться где-то под потолком, о чем он и сообщает упомянутым ранее попискиванием. Особенно счастлива мамаша, не смеявшая прежде оскорбить отцовский порыв мелочным «осторожнее, не урони» и вернувшая себе ребенка из недостижимых высот целым и невредимым. Папаша с чувством выполненного долга оседает на скамейке, мамаша продолжает камлать у двери в кабинет.

И вот он – второй фактор, способствующий чувству уплывающей от неподготовленного человека реальности: всеобщая любовь царит в поликлинике в грудничковый день. Ведь это – день профилактического (именно профилактического) осмотра детей до года, и родители приносят своего малыша для обмера и обвеса, как хорошего поросеночка, приносят здорового младенца просто для того, чтобы педиатр подтвердил: да, все в порядке, и написал в карте «4,5 месяца, учится ползать». Потом-то уже будут другие записи – диагноз под вопросом и косолапое «сiто» поверх направления на анализ, и врач не поинтересуется: а как у вас дела в школе, да никому и в голову не придет тащить здорового ребенка к врачам. Грудничковый же день закончится к обеду, и преданные папаши побегут дорабатывать со спокойной душой, младенцы получают молоко и сон, а мамы будут варить ужин и прикидывать время для похода в парикмахерскую; все будет хорошо и – главное, главное! – документально подтверждено специалистами. Вот отчего любовь наполняет убогое здание поликлиники, и никакие очереди, а также многодетные без очереди не могут ее поколебать.

Но бывают и исключения, конечно, вроде вот такой вот женщины – длинной и тощей, и с лицом... Нет, об этом придется иначе. Многие меняются в лице, подходя к кабинету – у-у, и что, все туда? – но данное конкретное лицо остается, как было, конкретным и злым. После первой же фразы лица, безобидной, казалось бы, и безадресной фразы об отсутствии свободных пеленальных столиков, равновесие пространства рушится: самое слабое звено – папаши – вспоминают, что давно не курили, а мамы, лишенные такой свободы маневра, идут прогуляться по коридору, и только одна, впечатлительная, освобождает столик от детских зимних одежек. На что надеется бедняжка – на улыбку, слова благодарности, быть может? Не на ту напала; вновь пришедшая крепка духом и устойчива к лести, она ставит сумку-переноску на стол и хищным взором окидывает опустевшие лавки, отыскивая

жертву. Та не замедлит явиться (на ловца и зверь бежит), и уже открывается заветная дверь, и медсестра, профессионально оценившая прирост очереди, говорит – десять минут как просила не занимать, прием заканчивается.

И вот тут становится ясно, что правы сбежавшие покурить папаши, у них-то с инстинктом самосохранения полный порядок, – но что может сделать бедняжка, которой вот-вот заходить к врачу и страшно отойти от кабинета; она может только прикрыть своего ребенка, став спиной к черной звезде, выпустившей вдруг лепестки. Потому что сомнений не остается: это она, звезда безвременья, это ради нее святая инквизиция стубила сотни невинных, от ее взгляда скисает молоко, а от ее негромкого голоса леденеет душа и кое-что еще. Не прекращая излучения, звезда достает из переноски младенца – тщедушное тихое тельце – и подрагивающим от ненависти голосом рассказывает, что ребенок весит вполовину от нормы; и ну и что, что были у врачей аж два месяца назад, толку от этих врачей шиш; и нет, завтра она не придет, не нанималась ходить; и многое, многое другое говорит она побледневшей и покрасневшей медсестре. Уже вышла, почуяв неладное, молодая врачиха из кабинета, и они уже вместе с разноцветной медсестрой уговаривают пройти на прием без очереди, обращаясь к бедняжке – девушка, вы же пропустите? а куда ей деваться, конечно, пропустит, – но нет! Нет, поздно, раньше надо было думать, я уйду, а если мой ребенок умрет от недоедания, то пусть вот вам лично будет стыдно! И вам, кстати, тоже, да, не отворачивайтесь.

Теперь-то понятно, почему в детской поликлинике возникают странные мысли о чайлдфри, то есть людях, осознанно не желающих иметь потомство – это они на английский манер так себя величают, чайлдфри. И таковые мысли отнюдь не носят порицательного характера; напротив, возникает как бы даже уважение к тем, кто сумел перешагнуть через навязчивое «чтоб-как-у-людей»: ну, поискали в душе, порылись, но любви не нашли, или нашли ровно на себя, и худо-бедно выбрали правильный ответ. А черная звезда так не сумела; ей хотелось, как у всех, приличную стенку, плоский телевизор, магнитофон «бумбокс» и ребенка (именно в такой вот последовательности) – но сделать ребенка оказалось легче всего остального, а остального отчего-то не прибыло, это видно по такой специальной ауре людей, высоко ценящих материальное и этим материальным обойденных. Теперь же крошечная девочка все пять месяцев жизни проводит под губительным излучением матери; и врачи, натурально, разводят руками и не могут найти причину ее плохого аппетита: а может, вы все-таки согласитесь на

госпитализацию? – хватает врачца строптивый рукав. Разбежалась, нужны мне ваши больницы, знаю я, какой у них там уход.

Да что вы несете, таких маленьких детей кладут вместе с родителями, вы же сами и будете ухаживать: вот что хочет возразить разумный человек сгустку ненависти и высокомерного бреда; этот разумный человек – я, и я молчу, сутулясь и отводя глаза. Я же, заодно, и тот самый «человек со стороны»; одинокий наблюдатель чужих новорожденных историй, заскочивший в поликлинику по делам.

Опаньки, говорит читатель, и чего? Чего, спрашивается, выпячивать лишнего персонажа, эдакую многозначительную сволочь, не способствующую развитию сюжета? Да и где, собственно, сюжет, где интрига и милые сердцу любознательного человека перипетии? Хорошо бы (советует читатель) как-то так: недокормленный ребенок умирает прямо на глазах у медработников, которых, конечно же, постигает нервное расстройство и в дальнейшем увольнение, и они (медсестра и врачца) объединяются в Тайное Общество и начинают слать сигналы в Космос – это одна линия. А ведьма, теперь как бы осиротевшая мамаша, посредством катарсиса осознает всю мерзость предыдущей жизни и мигрирует в, допустим, Тибет, где и становится величайшей женщиной-гуру, равняясь с Буддой (вторая линия). Но в это время Тайному Обществу удастся-таки воззвать к Злобным Инопланетянам, кои инопланетяне всегда мечтали уничтожить Землю, но не знали ее координат, а теперь вот знают (спасибо медицине) и мчатся к заветной цели. И тогда наша просветленная Будда, наступив на горло собственной песне, включает подавленное до поры до времени ядовитое излучение, и этим черным потоком изничтожает Негодяев, но и сама погибает ради спасения человечества: то есть линии сплелись и одна победила другую; финиш.

То есть как-нибудь так было бы да-а-а.

А на деле происходит вот что: вполне живой младенец убирается в сумку-переноску и покидает поликлинику в облаке мамашиного излучения, а я тупо ворочаю в голове какую-то невнятную мысль, скорее даже просьбу – пусть не приметит нас черная звезда, пусть не достанет протуберанцем, пусть хотя бы у нас все будет хорошо.

Окна

... А как она, ласточка, окна мыла!

Едва весна природу разопрет, едва теплые дни устаканятся, тут же, гляжу, тащит свои газеты, брызгалки, мочалки какие-то особенные и ведро с горячей водой. Касаемо окон, все у ней по правилам.

Но в остальном – полная дуреха была, это я как отец не могу не признать. Ей и пяти не стукнуло, когда дурь-то проявилась. Пожалуйста, папуля, не ходи на работу – ну и заявочки, ну и просьбочки! Я ей так и сказал, раз, другой... хоть кол на голове теши. Касаемо еды, одежды, квартплаты и прочего – не интересовалась. Жрать, говорю, что мы станем? Ноль эмоций: не ходи и не ходи. Воскресенье потратил, учил. Вроде усвоила.

Но с окнами – это, прямо скажем, дар какой-то. Никто ж не заставлял. Взметнется на подоконник, и пошла наяривать: поначалу горячей водой пыль смоем, потом какой-то ветошкой, потом брызгает и газетой, газетой! А из-под халатика ноги, такие напряженные, почти неподвижные. Под коленками сзади, где у баб вечно либо синее что либо уже вспухло, у ней кожа белая-белая и как бы прозрачная... Смотришь, а сердце замирает.

Но: дуреха. В шестом классе приходит – папуль, я хочу стрижку сделать. А у ней коса даже тогда в руку толщиной была. Сама вся маленькая, меленькая, а волосы – я те дам! Чистое золото, мамашкино наследство. Дурацкое дело нехитрое, только дурь вот пройдет, а коса враз обратно не вырастет. Запретил, значит, но сердцем почуял: мимо. Пришлось отгул брать, контролировать – и как знал! После школы – шмыг, в парикмахерскую. Я следом. Ласточка, говорю, собирайся-ка домой. И опять пришлось тратить время, ее и свое, на обучение простым истинам. Но ведь прав же оказался! К концу школы у ней не коса была – чистый удав, люди просили потрогать. А то ж! кругом девки стриженные, крашенные, не чета моей ласточке.

Так перед глазами и стоит на окне, с солнцем управляется: где протрет, там и засияет. Голову запрокинет и ну высматривать, не осталось ли разводов, а босыми ногами в подоконник уперлась и пальцы так поджала, будто цепляется. У ней щиколотки были... сбоку с косточкой такой, словно сахарной, а сами тонюсенькие.

Что касаемо проблем, так куда без них. Контроль постоянный: дуреха. И учить ну буквально всему приходилось, и не за один заход.

У ней любимое выраженье было: папуля, не надо! Как будто отец ее дурное делать заставляет. Как будто какой-нибудь Саша-Паша ей первый учитель.

В девятом классе что: я у ней записку нашел от одного. И, прямо скажем, поганая та записка была: сплошные сопли и слюни, плюс стишата: бу-бу-бу, что такое любовь, это

синее небо, это воздух времен, ароматы цветов... Погань, а прилипчивая. Взял отгул, посмотрел, и не даром: отцовское сердце не обманешь. Вертелся вокруг нее один такой... как есть, Саша.

Это ровно перед второй помывкой окон было. У ней ведь что заведено: первый раз окна моются где-то в марте, при поздней весне – в апреле. Второй раз – в начале школьных каникул. Потом каждый месяц, пока каникулы, и, под завязку, в конце первой четверти; а дальше уже не сезон. Вот как раз перед вторым в тот год мытьем и пришлось ее учить. Прямо скажем, перегнул палку, но тут дело серьезное, упустишь – до блядства рукой подать. Дело серьезное.

Да она привычная была, и расстроилась только из-за пропущенного мытья: когда опять на подоконники смогла полезть, уже тополь почти отцвел. С того года повадилась и зимой эти окна драить, в оттепель. В мороз тоже мыла бы, если б вода на стекле не замерзала. Спросил ее как-то – и чего их так начищать-то, в чем смысл, а она, ласточка, отвечает: дом, папуля, дышит, воздуха становится больше. Такая фантазерка, дуреха.

А тут мне пенсия подошла, снял погоны и стал собираться. Касаемо того, где жить – так катись этот город куда подальше с его парикмахерскими, сашами и прочей дрянью. Поискал, покумекал, нашел одну деревеньку: сутки на поезде, потом автобус и дальше на чем повезет. Воздух – режь да ешь. Собирайся, говорю, ласточка. Аттестат есть, образование, прямо скажем, законченное среднее, а чего еще такой ласточке надо. И не трясись; ежели ты касаемо окон, так их в нашей хибаре побольше будет, чем тут. А она знай плачет, чего давненько себе не позволяла, потому как ученая: сопли распускать – последнее дело. Вид на город ей, понимаете, жалко. Ну вот как с ней, а? куда такую дуреху в жизнь одну выпускать?

Уже и контейнер заказал, осталось что по мелочи собрать, смотрю: волочет ведерко и прочие причиндалы. Завтра ехать, а она за тряпку. И – единственный раз в жизни – попустил! Пусть, думаю, побалуется, ласточка. Сам закурил, стою, смотрю. Уж такая она у меня... Стоит, лицом ко мне развернулась и снаружи окно натирает, правой рукой за раму держится, а левой водит. Потянулась дальше, дальше, а пальцы почти разжала. Ласточка, говорю так тихонько. Я ж как хотел: предупредить, чтоб держалась крепче, а она руку совсем отпустила и вдруг пошатнулась. Руками взмахнула раз, другой, спину выгнула, а шею и бедра вперед, для равновесия...

Мне еще и полтинника нет, и реакция – я те дам! Я б успел, успел ее за ногу схватить, за щиколотку выше косточки. У ней щиколотки тонкие, так что пальцы при обхвате – внахлест... Только она ногу от моей руки отдернула. И – соскользнула, вниз ушла. Семнадцатый этаж.

Я вот все думаю: показалось, что брезгливо ногу убрала или нет? И еще: если б я к ней не прыгнул, удержалась бы сама? Н-да...

Дача

Люди собирались на дачу.

Тут может возникнуть недопонимание, какие-то даже неверные ассоциации: йогуртовые баночки с рассадой, не забудь полить помидоры, а кабачок-то нынче уродился.

Речь не об этом.

Люди готовились культурно отдохнуть, что опять-таки влечет за собой лишние образы вроде кинопроектора, последней книги Акунина и вай-фая.

Нет!

Правильно так: четыре на четыре (как у джипа, но только по половому признаку), водка, пиво и даже бренди с наклейкой «коньяк». Из нарезок – сырокопченая и просто сыр, из крупного – красное пластиковое ведро шашлыка. В обычной жизни Маша использует ведро для мытья пола, а кого это смущает? То есть пока что смущение может зародиться, пока еще все бутылки плотно закупорены; вот Маша и умолчала о его, ведра, родословной. Расскажет вечером, и тогда-то это будет смешно.

Казалось, а почему бы не начать рассказ о даче с самой дачи, с какого-нибудь эффектного выкрика вроде:

– Какая ука выжрала всю водку?!

Это Генкина реплика, он ее всенепременно использует часиков эдак в одиннадцать вечера, когда последняя опустевшая бутылка «Смирнова» будет припрятана под крыльцо. Генку можно понять и простить: его организм изнежен и принимает исключительно спирт с водой в правильном соотношении, а более ничего. «Иначе блюю-с», – застенчиво поясняет Генка. Он еще и питает слабость к словоёрам.

Но при таком вот начале, при такой вот фразе-вспышке пропадает из виду важная часть, именно что сборы и путь, собственно, к даче. К этому закутку отдохновенья. К этой Мекке пыльного горожанина.

А ведь путь к даче не прост.

Для начала горожанин должен скоординировать свои действия с действиями других горожан; это обязательно, потому что культурный отдых в одиночестве есть банальный алкоголизм. После долгих выяснений, кто едет, и даже уговоров отдельно взятых личностей (вась, ну поедем, а, вась! клёво будет!) следует собрать волю в кулак и подняться с насиженного, мухами засиженного, места. Решить, кто идет за мясом, кто за пивом, кто куда. Из важного: в чем мариновать шашлык – в вине (традиционно), в пиве (вкусно) или в минералке (экономически верно, потому что все равно ее никто не пьет). Из второстепенного: сколько брать хлеба. Из очень важного, но вслух не обсуждаемого: кто с кем. Не в смысле поедет, а в смысле этого. Ну, потом. Ночью.

Кроме того, добраться предстоит долго, по жаре и пробкам, и обязательно же кого-нибудь укачает, скорей всего – красавицу Елис, которая и часу не в силах прожить без всеобщего внимания. Елис она не с рождения, а по воле одного случая. У Генки когда-то была жена, и так уж получилось, что фактически на излете брачных отношений Генка из семьи пошел пить. Жена тут же проявила интерес: давай искать его где возможно для решительного объяснения, и таки нашла на не пойми каком сквороте (пьяного в мясо). Он сидел как бы в одиночестве за столом. Жена возникла в дверях, словно Немезида, и побожески спросила: «Ну и что это вы, Геннадий Александрович, тут делаете?». А Генка ей в ответ: «Мы ничего, мы так, ели-с». Это он незатейливо надеялся обмануть богиню, сокрыть факт выпивания. И тут жена, теперь бывшая, полумифический теперь уже персонаж, якобы увидела на диване голое женское тело и вроде бы сказала: «Ну ясно. Ну ясно, кого вы тут ели-с. Какую такую Елис». Свершила, как и должно божеству, над телом таинство крещения.

После затяжной дороги только Вован и Толян сохраняют бодрость духа, прочие же выкинутся из машин слегка вялые и одуревшие, и Маша, знаток и ценитель прекрасного, скажет: «Господи, хорошо-то как!», и почти одновременно с ней то же самое скажет Людок, у которой с собственными оригинальными мыслями проблемы. Зато Людок хорошо умеет подставляться и подставлять других, вот и на сей раз выдаст:

– Эх, позагорать бы, да купальник не взяла!

– Ой, да, и я забыла, и мы забыли, – подхватят Маша и Таня, злобно зыря в сторону Людка, а вот Елис, кровожадная охотница, не упустит случая и с радостью вонзит когти в нежную глупую тушку:

– Да что нам купальники, все свои, – после чего скинет рубашку и джинсы и будет рассекать по участку в застиранной тесноватой майке-алкоголичке и простых белых трусах.

Женщина с телом Елис может себе это позволить.

А женщины с телами Маши, Тани и Людка сделают вид, что они как бы по хозяйству. И что путь к сердцу мужчин лежит через красное пластиковое ведро. Это обманет разве только Генку, которому все тетки (за исключением Елис) глубоко до лампочки.

Пару лет назад Елис имела непродолжительные с Генкой отношения, но, что примечательно, многим позже упомянутого случая с женой, жгущей глаголом. В тот как раз раз она лежала на диване безотносительно кого-либо, просто пьяная. В периоды обострений Елис имела загадочную привычку напиваться, а обострения наступали после встреч с Сережей.

Так что, когда Маша и Таня пойдут покурить перед скользким делом нанизывания мяса на шампуры, первая скажет второй:

– Да ладно, не злись на нее. Несчастливая любовь, сама понимаешь, не подарок.

Ведь Маша, она же еще и тонкий психолог ко всему прочему. То есть природа ее все-таки уравнивала, как сумела, дала ей взамен изменчивых физических прелестей богатый внутренний мир.

– Да я не злюсь, – ответит Таня и остервенело затынется. – А Людок-то наша, ну ё-моё, ну тупа! Купальник она забыла, а.

Когда тени удлинятся и зальют участок свинцом, первые порции шашлыка будут заботливой рукой Людка выложены на пластиковые тарелочки, и первая потная бутылка водки воцарится посередине косенького дачного стола. Люди соберутся вокруг, заметно на взводе от голода и вечерней свежести: все роли расписаны, воздух трясется от жара костра и нервических выкриков и смеха.

– Эх, а пиво-то я в холодильнике забыла! – это, без сомнения, Людок.

– Ой, да, я тоже пиво, мы тоже пиво, – загалдят Маша и Таня. – Людок, стоняй, инициатива наказуема.

– Я буду водку, – тихо и твердо скажет Елис, глядя куда-то в направлении Сережи, но все-таки мимо него.

– О, вот это по-нашему, – обрадуются Вован и Толян, потирая руки, – это по-пацански!

– Э, народ, а коньяк мы кому брали?

– Да хэ-зэ. Потом все в дело пойдет.

– Я кроме водки ничего пить не могу, пацаны! Вы ж в курсе!

– Да забей, все нормально.

– Да я заблую-с тут все!

– Да забей.

– Заткнитесь, – говорит Елис, и если б она была хоть немногим не так красива, это прозвучало бы хамски. Но Елис прекрасна, и все затыкаются. – Мне без разницы, пусть я буду коньяк.

А Сережа добродушно равнодушно усмехается и знать не знает, что глаза у него единого цвета с синеватым дымом, ползущим от огня к Елис. Совершенство Елис не волнует Сережу, ему не интересен и богатый внутренний мир Маши, и кокетство Тани, и даже местечковое чудо – добродетельный вакуум Людка. К женщинам и к мужчинам он относится одинаково радушно, не гнушаясь любых тем: с дамами о краске для волос, с прочими – по обстоятельствам. И это политкорректно, и это грамотно в полужнакомой обстановке, а вот среди друзей как же? Это если вдуматься.

Но люди собирались на дачу не для размышлений.

Поэтому Сережа – душа компании, причем любой произвольно взятой, не только конкретной.

Вместо южного шелкового бархата с россыпью бриллиантов над дачей развернется потертый плюш ночного подмосковного неба, даже и с гламурными реденькими пайетками, которые как бы означают собой звезды. Они функцию звезд тоже худо-бедно выполняют: то есть романтизируют, возвышают человека, во тьме отошедшего к грядкам по малой нужде. Уж как водится.

И Генка, напившись скудным, но, поди ж ты, неземным пайеточным сиянием, испытывает прилив альтруизма и говорит безмятежному Сереже, журчащему сбоку:

– Серый, ты, если чего, то... Я, короче, мешать не буду. Я ж знаю – ей до меня до и по. Она в тебя серьезно влипла.

– Ты о ком? – удивляется Сережа, вжикая молнией.

– Да о Елис же.

– А-а. Да ну ее. Она с кем только не спала – мне это надо?

Нет, все-таки далеко подмосковным звездам до оных на южных широтах: хоть и светят из последних сил, а вялое их облагораживающее действие больше смахивает на морок, чем на нечто стоящее. Вот и Генка неаристократично и неторопливо отведет руку для широкого размаха и испортит этой рукой приятное Сережино лицо, а потом пойдет к освещенной беседке кричать фразу про уку и водку, и Сережа тоже пойдет, роняя черную кровь в заросли серых сорняков, и Елис пойдет – даже побежит – за Сережей, и он ей что-то такое скажет, но политкорректно, а она именно от этой политкорректности поломается напрочь и разыщет в прихожей бечевку, и, когда все как-то относительно уgomонятся, проскользнет в пустую баню, пряча добытый моток под курткой.

Остановись, мгновение.

Люди выдвинулись бы из города с утра пораньше двумя машинами, мальчики в синей, девочки в красной, что особенно символично в сочетании с красным же пластиковым ведром, в котором мясо. Выдвинулись бы и поехали, но накануне Вовану (хозяину) позвонили соседи с новостью, что дача сгорела. До самого до фундамента – так они сказали – и еще несколько домов тоже, но, слава богу, никто при этом не пострадал.

Русский борщ

И вот только я попривыкла к свободе от плиты и вообще по жизни, как позвонил мой. Дина – проблеял в трубку и замолчал, а я-то что? Я уже сорок восемь лет Дина, а кое для кого и Дина Владимировна. Честно сказать, для большинства. Ну, приезжай – сказала я, хоть и не больно хотелось созерцать его виноватую рожу. Отвыкла за год. Мой, конечно, как был интеллигентным хамлом, так и остался: вторым делом проявил интерес к наличию еды. А у нас с Натусей в холодильникемышь повесилась, закусив спервоначалу засохшим сыром и обнюхав мешок с грейпфрутами. Доча, как все современные девицы, находится в перманентной борьбе с «лишней попой», да и меня, гляди-ка, подбила улещиваниями. Ты, мол, мамахен, такая раскрасавица, вот еще бы тебе до сорок шестого похудеть – и все мужики твои. Врет, конечно, но приятно. На самом-то деле, если уж я не готовлю, то Натусе после института меньше искушений вроде

тефтелек или пирожков. И я присела на грейпфрутовую диету. Дома. На работе (я шеф-повар в ресторане, хотя по мне, так это обычная столовая, но не спорить же с хозяином) теперь приходится наедаться впрок. Натуся не знает.

Поскольку перспектива откусывать борща ускоряет моего с невероятной силой – даром, что другой конец города, а за час доедет, – действовать пришлось быстро. В «Трех поросятах» (местные так называют тутошний продуктовый, хотя по вывеске он «Омелла») были закуплены одна свекла, одна морковка, маленький кочан капусты, луковица, томатная паста с кусочками помидоров (мне «Пармалат» нравится, куда как лучше «Краснодарской») и триста грамм нежирной говядины. Очень, подчеркну, важно, чтоб мясо было нежирным. А иначе красивого цвета борщу не видать.

Первым делом говядину надо промыть, опустить в подсоленную воду, и пусть себе варится потихоньку целым куском. А тем временем очищенную свеклу натереть, смешать с пастой, водой чуток разбавить, чтоб не пригорала... Но ежели со свежими помидорами делать, то тут воды не надо, помидоры свой сок дадут. Мой всегда любил борщ покислее, поэтому к свекле я добавила столовую ложку виноградного уксуса (красный уксус и цвет поддержит). Мой вообще много чего любил, а поболее другого – женщин. Вот так мне повезло, за ходока выйти замуж. Поначалу, как поняла, что к чему, развестись хотела, да испугалась. Ну куда я с дитенком – помощница повара из техучилища? А потом привыкла: мой хоть и влюбчивый был, да перегорал быстро, ко мне возвращался. Каждый раз все шло по заведенному кругу: я ее люблю, сундук куплю! А через пару дней приходит, я ему эдак ехидно – уж не за вещами ли, Степан Борисыч? – а он мне бух в ноги! И давай каяться. После очередного загула и любовь у нас получалась сильнее, и подарки мне перепадали (то колечко серебряное, то цветы), и с Натусиком он возился постоянно. Потом, гляжу, потихоньку внимание на нет сходит, глаз затуманен, сам отвечает невпопад или вовсе молчком сидит, как сын. Ага, думаю, опять. И точно.

Да, значит, свеклу с помидорами сдобрили уксусом, посолили-поперчили по вкусу – и на маленьком огне поставили томиться. Тут можно и передохнуть; если кто курит, то сходить на перекур, но я ни-ни. Натуся, сдается мне, балуется в институте этой дрянью, но при мне не демонстрирует. Ладно, поумнеет – бросит.

Тут и мой пришел, весь запыхавшись. Но делает вид, что так, мимо проходил. Пока раздевался, пока соображал, что тапочек мужского размера здесь нет, я его рассмотрела. Отощал ужасно. Кто бы этому удивился, да только не я. Год жить со студенткой с

философского... или с филологического? Марина эта примерно на год старше Натусика, а у дочи нашей даже яичница получается сыро-горелая. Не умеет современная молодежь готовить. Молодежь с филфака тем более. Думаю про себя – странно, что вообще коньки не отбросил. Ох, уметь бы некоторые мысли не думать, потом меньше пришлось бы краснеть.

В общем, пока мой в коридоре топтался и руки мыл, я пошла мясо вылавливать. Хорошая говядина быстро варится. В мясной бульон, пока мясо на тарелке стынет, надо добавить зажарку и нашинкованную капусту. Зажарку делать очень просто: морковку порезать тонюсенькой соломкой, лук измельчить – и на разогретую сковороду с растительным маслом. Обжарить, пока масло не станет желто-оранжевым, и переложить в бульон. Туда же капусты добавить, пусть кипит. А свекла, замечу, с томатами все тушится себе в отдельной кастрюльке. Время от времени ее надо помешивать, проверять, чтобы не пригорела, но в бульон не закладывать – в этом весь фокус. Иначе цвет пропадет.

Мой посмотрел-посмотрел, как я вокруг плиты суечусь, и говорит – сядь, Дина. Я села, но, чтобы время даром не терять, взялась картошку чистить. На кастрюлю борща нужно две-три крупные картофелины. Почистить, нарезать кубиками и промыть холодной водой как следует, чтобы бульон от крахмала не помутнел.

Смотрю, мой мнется, и никак не может сказать, чего пришел. Не за борщом же, в самом деле? Хоть и тощий. Я ж не зверь, пришлось завязать разговор. Откашлялась, и спрашиваю – как живешь-можешь, как Марина, как Степан Степаныч? Это сын моего от Марины, ему как раз годик недавно исполнился.

...А в уме крутится себе наш разговор, что тринадцать месяцев назад состоялся: так, мол, и так, Дина, ухожу от тебя к Марине, у нее скоро ребенок будет. Мой-то с ней тогда уже полтора года встречался, а я и не знала ничего, думала – все, возраст не тот. Очень даже тот возраст оказался, полюбил мой всерьез Марину, которая вовсе не Марина, а чуть ли не Бюль-Бюль-оглы или как-то вроде. Девушка с жуткой предысторией – с казахскими родителями, кочевниками или аксакалами, но людьми темными – сбежала в Россию. Замуж ее там выдать насильно хотели? Не помню. Мой ее где-то подобрал, с гражданством помог, а заодно и осеменил. Ох, вырвалось. До сих пор не простила, ни его, ни ее. Уже, думаю, отболело, да нет. То казашкой ее обзову, то еще как...

О, ишь, начал соловьем разливаться. Степушка у них-де ходить учиться, Мариночка диплом скоро будет защищать. А я слушаю, но сидеть напротив, в глаза его бесстыжие глядячи, мочи нет, тем более что и картошку пора в бульон кидать, в компанию к за жарке и капусте. И порезанную вареную говядину туда же. Теперь почти все, на плите булькают две кастрюльки – с капустным желтоватым супом и с тушеной свеклой. Как картошечка сварится, так и...

Мой встал, взял меня за локти крепко и бережно, как он один умел, и сказал:

– Я, Дина, наверно, скоро умру. Молчи! Опухоль мозга, врачи считают, что операция бессмысленна. Полпроцента на успех, но я попробую. Молчи, кому говорю. Марина опять беременна, летом родит. Ты у нее одна тут остаешься. Не бросай ее, ладно? Квартира у тебя большая...

Тут он не соврал – чисто хоромы, не квартирка. Шутка ли, четыре комнаты? Папа моего – свекор, стало быть, Царствие ему Небесное, – большим был человеком при советской власти. А Степан, как ушел от нас, взял с собой только старый чемодан с одеждой. На пару с Мариной все углы разные снимал.

– Разменять? – брякнула я первое, что в голову пришло, чтобы тут же не завывать и не переколотить всю кухонную утварь об его тупую голову.

– Не надо менять. Пусть она с вами живет. Ты сильная, а у нее двое малолеток на руках будет.

И глядит так строго.

Ах ты, думаю, мать-перемать, сдалась мне твоя трепаная казашка; пусть валит в свою казахляндию обратно вместе с пащенками; твоя доча на выданье, а ты, бесстыжий, на ее наследство приволок целый табор... Открыла рот, и сказала:

– Ладно, пусть живет. А ты грабли свои убери да под ногами не мешайся. У меня борщ кипит.

Мой заулыбался, руки мне отпустил, а жаль. Говорит:

– До чего ж вкусный у тебя борщ всегда выходит, Дина! И красивый...

– Потому что тушеную свеклу с помидорами я в последний момент к основе добавляю, вот и весь секрет. Видишь – переложила, помешала как следует, и газ выключила. И, конечно, мясо должно быть нежирным, – тут я ему целый урок закатила на тему кулинарных искусств, лишь бы что говорить, лишь бы ни о чем не думать.

Марина мне очередную книжку подсунула почитать, все расширяет мой кругозор. Я, в общем, не против; многие люди и впрямь интереснее пишут, чем Барбара Картленд. Вот эта Лаура Эскиавель, к примеру – про одну женщину, которая всю жизнь готовила, готовила... Марина нашла какие-то там параллели со мной, но, сказать по правде, я не поняла, почему. Разве что я повариха, и героиня в книжке повариха. Но какие у них там страсти, в этой Латинской Америке! И любовь, и подвиги, и предательства, всего вдоволь. А мы живем себе обычной некуда. Из важного за последний месяц только и случилось, что Санечка, младший Маринкин сын, начал связно говорить «мама Дина». Это он за Степан Степанычем повторяет.

Голова за облаками

Стригли до десяти принудительно, в полемику не вступали: папа плести не умеет, маме некогда, ходить растрёпой некрасиво. Спи под одеялом, раскроешься – придёт маленькая панчита, смело станцует вупу. Облака – белогривые лошадки. Ты – Ньюша.

Всё ложь! Разве они белогривые, разве лошадки: просто комья надышенного пара. И не белые, далеко нет. Белёдые в лучшем случае. И Татьяну до Ньюши никто не сокращает.

В десять одним скандалом стала Таней и научилась плести: сначала на кукле, потом на покрывале. Косо, криво – раз косичка, два косичка, – первая похожа на узел, вторая на пучок, третья на мочалку. Мама ругалась, возвращая бахромё пристойное состояние, но ругалась несильно: где же учиться Тане, если личная собственная голова – под мальчика?

К зиме отросли до середины ушей, стало можно завязывать хвостики. Волосы скользкие, беглые, когда они вместе, но каждый отдельный волосок очень цепок и норовит больно оторваться. На голове вырастали петухи: кукареку. Это вам не облачные лошадки, это – непобедимая реальность. Мама хмыкала, папа одобрял: упорство пригодится в жизни. При чём здесь это, когда руки холодно затекают, поднятые надолго вверх, становятся совсем нелепыми, плодят петухов?

В пятнадцать всегда найдётся мальчик, обречённый тебя не заметить. А тебе надо; а если вдруг спросят – зачем, ты аргументируешь, как маленький ребёнок, подаваясь телом вперёд, вывернув ладони кверху в движении разводного моста: ну мне о-о-очень надо! А нету (привет из далёкого уже детства). Чистое тело не знает ни спирта, ни этого мальчика, оно высоковольтно само по себе, оно берёт руками ножницы и – чирк, чирк своё

богатство. Выторгованное у родителей, выигранное у петухов. Голова неровная, патлы торчат, болит трижды проколотое ухо: теперь заметит?

В двадцать два у Татьяны диплом, муж и волосы до лопаток. А облака – подколенные туманы. Она работает, она умница и красавица, она зашла в магазин домашнего уюта и покупает. Маркер, стикер, таймер и триммер. Высокий вольт давненько живёт в розетке, в Татьяне же только сознательное: регулятор на десять миллиметров, тонкое дрожащее лезвие вспахивает дугу ото лба к затылку, и параллельно, и так до конца. С тихим посвистом падают неопрятной кучей волосы. Татьяна превращает шёлк в замшу, поводит опустошённой головой вправо-влево и – вверх, сквозь склизкие небесные туманы, отраду поэтов. Этот миг растянут на целый день стрижки: голова за облаками, свободная от тяжести, обдуваемая солнечным ветром, без забот и хлопот в законном своём одиночестве.

В тридцать, сорок и далее так медленно растут волосы. Чего только не доведётся испытывать Татьяне, особенно после родов, когда голова станет облетать (ах, банальной ситуации – банальная метафора) подобно золотистой сентябрьской липе. Тут и обмазывание репейным маслом, и втирание лопухового корня, и полоскание крапивным отваром, и всё перечисленное – с непременно сопровождающим целлофановым пакетом и старой меховой шапкой. А... (тут срывается до шёпота) а урину вы пробовали? У меня знакомая, знаете, работает моделью у парикмахеров, там очень важно, чтобы побыстрее отрастали, говорит – чудесное средство: на ночь и, как обычно, под пакет и шапку. Да хоть кал. Раньше, чем за десять-пятнадцать лет, теперь не вырастут до нужной длины: возраст торможения. Стричь же короткие, какие жалко свисают до плеч – всё равно, что пить воду, когда хочется водки. То и другое прозрачно и бесцветно, но кого этим обманешь...

Сколько-то раз Татьяна успеет ещё и отрастить, и постричь – два, три? – всё ради суррогатного чувства свободы, всё в ожидании того единственного момента, когда тяжесть навсегда покинет голову, когда голова окажется за облаками навсегда.

Нечто автобиографическое

Жизнь как битва, или Четыре возраста

-Возраст первый: наступление-

Однажды Иринка написала стихотворение. Через десять лет она его перечитала и подумала – ну и дерьмо. И написала рассказ.

Однажды Иринка переехала из одного города в другой. Ей было тринадцать лет, а вещей набралось – тыща коробок! И еще парочка где-то потерялась. Потом она опять переехала: шестнадцать лет, семь коробок. Потом опять. И снова. Вещей становилось меньше, а лет – больше. Когда-нибудь она переедет в последний раз, но к этому моменту коробок совсем не останется.

Однажды Иринка влюбилась в мальчика, а другой мальчик влюбился в нее. И, раз уж все это произошло одновременно, ничего хорошего не получилось. «Граждане, соблюдайте очередь!» – хотелось крикнуть Иринке.

Однажды Иринка ехала в метро с мальчиком. Мальчик был замечательный: волосы ежиком, а глаза – словно переспелые до черноты вишни. Иринка и мальчик вышли из вагона, а Иринкин рюкзак забыли на сиденье. В этот момент поезд захлопнул двери и уехал. И рюкзак с ним. «Уже не догонишь, – сказал мальчик, – это не автобус». Иринка посмотрела на него: волосенки немытые, а глаза, как у мыши – черные и глупые. «Уехало что-то еще», – догадалась Иринка и заплакала.

Однажды Иринка сильно обидела свою подругу, а та возьми да и прости ее. Иринка обиделась на чужое благородство, но потом тоже простила. В общем, все помирились.

Однажды Иринка сломала левую руку. В травмпункте ей завернули перелом в гипс и велели показать врачу через месяц. Через месяц Иринка пришла к врачу, а тот говорит: у вас полис недействителен, всего вам доброго. В Москве с этим строго. Иринка вернулась домой, взяла ножницы и разрежала гипс. Рука под скорлупой оказалась лиловой и очень худой. Через десять минут Иринка смогла подвигать пальцами. «Подумаешь, бином Ньютона! Ну, сняла сама гипс», – позже говорила она друзьям. Но про страх и одиночество – ни гу-гу.

Однажды Иринка дружила с мальчиком. На очередной гулянке они закономерно напились и как начали целоваться. «Пстой», – сказала Иринка, – «надо прекртить это, ик, дело. Сохрнить друшшбу. Патамушта, ик, любовников кргом плно, а дрзей мало». Так Иринка осталась без друга и без любовника.

Однажды к Иринке пришла птица перепел. Иринка душевно попросила ее уйти, но птица устроилась основательно. «Ну и хрен с тобой; главное, что белой полярной лисы здесь нет», – подумала Иринка. «Меня звали?», – просунул голову в дверь песец.

-Возраст второй: контратака-

Несколько лет назад довелось мне лежать в дурке. Официально место именовалось клиникой неврозов, но мои позитивные друзья-приятели говорили – дурка. Маменька – дурдом. Научная руководительница, с придыханием, – клиника. По факту же тамошние пациенты все как один с головой не очень ладили. Ну я, например, могла выползти позагорать в купальнике на газон за воротами этого самого заведения. Хотя по жизни (до) была очень себе застенчивой. То есть вот картинка: мимо машины вжикают, люди в монастырь (там прямо-таки в паре шагов монастырь расположен) идут или же, напротив, к метро возвращаются, а на газоне лежит практически голое тело и вяжет. В тридцатиградусную жару я вязала шерстяной свитер. Так что, почему бы и не дурка, в самом деле. Почему бы и нет.

Загребела я туда из-за пресловутой последней капли. Не в том смысле, что «ну кошечка, ну еще капельку», а в таком мифологическом значении, о котором все говорят, но мало кто испытал на собственной шкуре.

Я была, знаете ли, фанаткой группы «Рамштайн». Само по себе диагноз, однако ж тысячи сырых существуют с этим и отлично обходятся без врачебного вмешательства. Но одно дело – фанатеть от Аллы Пугачевой или кто там сейчас зажигает на эстраде, и совсем другое – «Рамштайн». Это вам не ширь-шавырь. У Пугачевой, вон, свое радио есть – включил и слушай себе на здоровье; а нет, так любуйся на нее в телевизоре. А «Рамштайн» разве что пара станций ставит, по песне в месяц. Новые альбомы группа делает редко. То есть в России существует такой как бы информационный вакуум вокруг «Рамштайна», и любой фанат в подобной ситуации будет беспокоен и мучим духовным голодом. Я, конечно, боролась в меру собственных сил: плакаты на стенах, белье с тематическим

принтом, нашивки опять же... Но душа просила большего. Не знаю, у кого как, а лично у меня душа весьма ненасытная.

И вот однажды в феврале наш фанатский сайт разродился новостью: «Рамштайн» приезжает в Россию! Будет концерт в «Лужниках»! Очень все тогда перенервничали – а ну как билетов не хватит, а ну как стоять они будут неподъемно? Я уже прикидывала, почём удастся слить более-менее ценное движимое имущество (недвижимого у меня не было): ноутбук и «Запорожец». Выходило средненько. Впрочем, то были напрасные страдания – билетов хватило всем желающим, да и цена оказалась адекватной. То есть не так, чтобы закупить заодно и всем друзьям (для приобщения оных к прекрасному), но движимость осталась при мне. В итоге за два месяца до июньского дня Х я отошла от кассы «Лужников», пряча заветный кусочек картона и чувствуя приятное волнение в различных волнительных местах. Мы, фанатки, такие.

Может, конечно, возникнуть иллюзия, что, кроме надежды воочию лицезреть фронтмена группы, в моей жизни ничего не происходило. Ну сейчас. Чтобы дело дошло до последней капли, должна быть как минимум первая, и что-то такое имело место, факт. Шишки и тумачи жизнь присылала охотно и со всех сторон; в памяти, которая (известное дело и спасибо боженьке) милосердна, остался только заключительный аккорд. А пока музыка еще пиликала, я делала бодрое лицо и напоминала себе про «вот зато в июне». Кремнилась, ага.

И тут. За неделю до концерта мэра нашей полянки. Поинтересовался: кто все эти люди. В смысле, что это за немецкие певцы такие, которые на целый вечер займут русский спорткомплекс? Знающие люди показали ему фотографии Тиля с голым торсом и в кожаных трусах – м-м, какое у него тело, блин, это уже я говорю про тело, не мэра. Собственно мэру кожаные трусы не приглянулись, зато ему померещился нацизм. Уж не знаю, может, он в тот день страдал изжогой или плохо выпался: какой нацизм, батенька, вы о чем? Хотя смотря что нацизмом называть. Например, у «Рамштайна» есть такая песня (тут стоит учесть полностью мужской состав группы):

Дело мужчин
Я принадлежу мужчинам
Дело мужчин
Плюс на плюс – уже причина
Дело мужчин
Я служу мужским вершинам
Дело мужчин

Плюс на плюс – уже причина

Я – темный угол светлых комнат
Тень тех кустов, что ветер клонит
Моя прочна и вечна цепь
Пожелай меня иметь
Предатель я мужских основ
Кошмар и ужас всех отцов

И под конец идет яростный крик: «Педы-ы!». Шву-у-уля, если по-немецки. Может, в системе ценностей мэра это он и есть, нацизм то есть.

Короче: концерт запретили. Получайте деньги взад (в зад) согласно купленным билетам. Как в известном анекдоте: «Все, свинья, попили пивка».

Такая вот ерундовина меня подкосила. Такая воистину фигота полнейшая. Я припомнила все свои дебильные улыбочки, когда впору было веревку мылить, и ужасно прямо расстроилась из-за этой ненамышленной веревки. Думала и думала: вот, оказывается, тогда уже можно было вешаться, и тогда, и еще тогда, если бы не припевочка «а зато в июне». Почему-то мне не приходила мысль, что, коли все так паршиво, то и теперь еще не поздно... того. «Тово-этово», как говорил Выбегайлло.

Поэтому я плакала. Как долбанная принцесса Несмеяна, лила слезы сутки напролет. Если бы я проживала с родителями, я, возможно, изыскала бы некие резервы и как-то все это безобразие перетерпела; не знаю. Но родители находились за тысячу км от Воробьевых гор, а я – именно что на горах, в общежитии МГУ. В аспирантском, причем, блоке (читай: в гордом одиночестве). Стесняться позорной слабости было незачем, вот я и не стеснялась. А слезы, это ведь почти такая же штука, как сон, еда и секс – чем их больше, тем больше хочется.

На третий день непрерывного слезоотделения (ибо три – сказочная цифра) меня навестил друг-мотоциклист. Весь из себя брутальный мужчина с трепетным и нежным сердцем, которое тотчас дрогнуло при виде моего некогда приятного, а ныне напрочь опухшего лица.

– Ты че, ты че? – забормотал он. – Ты не принимай, это, типа, так близко.

Пришлось напоить его чаем и даже как-то поговорить, чтобы успокоить (а слезы все текли; такой вот оказался неподконтрольный процесс). Он пощупал влажную подушку на диване и, вместо того, чтобы успокоиться, сказал:

– Давай-ка, мать, собирайся.

Так я оказалась в дурке, где после бюрократической части и беседы с врачом попала в распоряжение доброй медсестры:

– А что это мы такие грустные? Сейчас скушаем таблетоньки, сейчас полегчает...

И действительно. Полегчало настолько, что картинки тогдашней реальности до сих пор не поддаются полному восстановлению в памяти; так, мешанина какая-то. Шерстяной свитер на газоне, хиппушка Марьяна, которая заплела мне волосы в мелкие-мелкие косички – расты – отчего я смахивала на мокрую белку, трудотерапия (ага!), пьянки из-под полы и весьма болезненные витаминные уколы в сакральную точку. С косичками, кстати, забавно было: Марьяна плела их несколько дней, но меня совершенно не смущало ходить с наполовину оформленной головой к метро за сигаретами. Хотела бы рассказать, как дивились на меня прохожие, но не могу – на реакцию окружающих мне стало единственный раз в жизни наплевать. Поэтому я ее не замечала.

Однако долгие полтора месяца окажутся небрежно и весело перетасованными чуть позже, когда действуют таблетки, а пока медсестра отводит меня в палату, где на кроватях дремлют пять женщин, а шестая сидит и плачет – так же, как я, равнодушно и непрерывно.

– Вот и еще одна новенькая, принимайте, девчонки.

Девчонкам давно все до лампочки, и только плакальщица, тетка лет пятидесяти из люберецкой рабзоны – с перманентом, байковым халатом и набрякшими ногами, – моя сестра по несчастью, мой духовный близнец, говорит:

– Мне сказали, что сейчас таблетки действуют, а они никак.

Ребром толстой ладони она аккуратно оттирает щеки (кожа, как и у меня, раздражена солью, так что любое прикосновение неприятно) и приглашает сесть рядом.

– У меня сын умер, – докладывает мне она. Слезы без остановки орошают байковые цветы; и Антон Палыч из стены, такой, смотрит по-хитрому и улыбается. Он-то знает, что все уже перепето-пересказано, но продолжает надеяться.

– А у меня «Рамштайн» не приехал, – отвечаю я.

Мы сидим, объединенные горем, и ждем, когда действуют таблетки.

-Возраст третий: осада-

Воскресенье начинается.

Я долго сплю, но просыпаюсь отчего-то заспанной и недовольной. Первый осознанный вдох дается с трудом: такое ощущение, что легкие за ночь помялись и слиплись, как влажные полиэтиленовые мешки. Внутри что-то с хрустом расправляется под напором воздуха. Колет в левом боку. Я иду в ванную и угрюмо созерцаю опухшее со сна лицо; оно похоже на забракованный тульский пряник из-за глубокого отпечатка подушки на щеке. А хорошо вчера пиво пошло! Вчера хорошо, а сегодня как-то не очень. Как-то так себе.

Тем временем остальное семейство тоже встает. Смахивает на то, что к субботнему возлиянию приложились не только родители, но и младшее поколение: у нас у всех четверых одинаковое выражение глаз. Не доброе, но и не злое. Просто общее выражение. Хотя детям мы не наливали, они еще маленькие.

У меня есть такая тайная мечта, что когда-нибудь дети вырастут, и будут выпивать вместе с нами, рассуждая о всяких умных материях.

Потом мы долго завтракаем через мама-не-хочу-плесни-ка-еще-кипяточку-а-кто-засунул-масло-в-хлебницу. Гады, вы б еще ботинки в морозилку определили.

Преступление против «Крестьянского» остается нераскрытым.

После третьей чашки кофе я начинаю чувствовать приближение прекрасного. Возможно, это результат химического взаимодействия утреннего суррогата с вечерним альдегидом – неважно, главное, что я чую потребность прожить этот день не зря. Чтобы не было мучительно больно и все такое прочее.

В этот переломный момент сосед сверху начинает сверлить. Он сука, как и все соседи в мире. Каждое воскресенье он вешает полочки, картины и крючки на свои стены. Я подозреваю, что он не только сука, но и душевно нездоровый человек, а это усугубляет. Судите сами: в году сорок восемь воскресений, плюс еще какое-то количество праздников плюс его, соседский, отпуск (субботы он, к моей неизбывной радости, игнорирует). Во время отпуска он сверлит не каждый день, но как-нибудь через раз. Путем дальнейших несложных подсчетов и аппроксимаций мне удастся установить, что свободными от полочек, бра и прочей дряни у соседа остались только стены в сортире. Скоро он оприходует и это скудное пространство и начнет сверлить пол. Тогда я умру.

Прикинув в уме возможную дату своей смерти, я наливаю четвертую чашку кофе; красные циферки на электронных часах показывают волшебное время – 11:11. Чувствуете? Вся ценность в том, чтобы успеть захватить это чудо глазами, специально не

подкарауливая. Тогда можно загадывать желание. Раньше у машин были четырехзначные номера; детьми мы постоянно проверяли сумму слева и справа и, если совпадало, бормотали – чур, мое счастье. У папиной машины номер был «19-99 чип». Не счастливый с точки зрения симметрии, но все равно прикольный. В 1999-м я закончила универ. И была вполне себе «чип» – курила сигареты «Ява» и пила «Очаковское». Так что номерок-то оказался пророческим. А теперь четырехзначные номера остались только у милицейских машин (и у прицепов, но их в городе почти не встретишь). Довольно-таки странно загадывать счастье, глядя на проезжающих ментов. Возможно поэтому, счастье получается странным.

Дети бродят по квартире в пижамах, к их носочкам пристали комки пыли. Блин, говорю я, уже полдень, а вы еще не переоделись. И в кого вы такие раздолбаи, а. Странная штука генетика.

Я тоже в пижаме, потому что предпочитаю переодеваться в ванной, но там теперь занято: муж читает газету. Муж любит читать.

Надо что-то делать, надо что-то делать. Ладно, переодеваюсь в комнате, попутно разогнав детей (эй, давайте уже снимайте свои пижамы, кто быстро оденется, тот поедет в магазин). Магазин – это ж наше все, по крайней мере для меня и для детей. Я люблю покупать еду и тряпки и (порой) какую-нибудь ужасную пластмассовую бижутерию. Процесс обмена денег на товар необъяснимым образом бодрит. Детей же бодрят аттракционы, какие теперь наличествуют в любом уважающем себя Магазине. Да, вот так – с большой буквы мэ.

Муж выползает из ванной и, через «типа» и «как бы», признается, что семейное авто не заводится. Такой с ним приключился казус вчерашним вечером. Можно, конечно, поехать на городском общественном транспорте. Быть ближе к народу и так и далее. Народ будет толкаться, пахнуть и разбрызгивать путем чихания сопли (прицельно на детей). Ну его на хрен, этот магазин. Мы облегченно вздыхаем. Сосед начинает высверливать предобеденную пару дырок.

Потом мы долго обедаем через мама-не-хочу-плесни-ка-еще-кипяточку-а-кто-насыпал-в-солонку-перец. А никто. Конь в вельветовом пальто. Спасибо, что хоть масло до сих пор в холодильнике.

Далее наступает время послеобеденного сна. Я переодеваю детей обратно в пижамы (по-моему, им кажется бессмысленной столь частая смена одежды). Они некоторое время

возятся в кроватках, хихикают и шепчутся, но вскоре затихают. Муж тоже ложится «придремнуть».

К сожалению, спать днем я не умею, точно так же, как не умею кататься на скейтборде, прыгать с парашютом и читать по-китайски. Если вдуматься, я не умею такую кучу всего, что вообще непонятно, почему у меня возникает свободное время. Нужно что-то делать, приобретать навыки, совершенствоваться. С другой стороны – а зачем? Зачем мне, к примеру, учить китайский или японский язык, когда я не люблю и не понимаю ни китайцев, ни японцев. Откровенно говоря – да, будем откровенны, как на исповеди, – я не понимаю вообще никого, а люблю по-настоящему только детей. Своих, конечно. И (временами) мужа. Но вот сейчас, в данный конкретный момент, он самозабвенно храпит, и поскрипывает зубами, и подрагивает волосатым мизинцем правой руки, и скребет заскорузлыми ступнями по простыне, отчего мне неловко испытывать к нему страстные чувства.

Влюбиться! О, вот это дело. Это такое дело, что и не пересказать, как круто. Желательно влюбиться безответно: вариант безгрешный и крайне продуктивный. Во-первых, я похудею, сбледну с лица и приобрету трагически-трогательный вид. Такой ни фига себе интересный облик. Во-вторых, начну писать стихи. Они получатся посредственными, но главное не результат, а вовлечение в процесс. Стану на законных основаниях пить валерьянку (а не как теперь, тайком). Из-за нечистой совести буду необычайно нежна к мужу и внимательна к детям. Так сказать, в целях компенсации. Научу детей читать, сварю наконец борщ по сложноподчиненному рецепту и уберу в квартире. Наряжусь в чулки с подвязками, испеку торт. Нате, жрите мое тело, а душеньку, чур, не троньте.

С другой стороны, безответная любовь взрослой тети связана с ее, тетиной, как бы ущербностью. Уж нормальная-то взрослая тетя, ежели захочет, так влюбит в себя кого угодно. Это нормальная, да. Предположим, что речь обо мне. Сразу возникает квартирно-временной континуум: где и когда. Потому что взаимное чувство, оно наглое. Ему следует быть реализованным. И ладно бы – реализовалось по-быстрому и иссякло; прецеденты были. Но это если повезет. А не повезет, так начнется такой геморрой, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Развод, разезд, суды какие-то, съемные квартиры. А дети? Они папу любят (утираю слезу). На хрен, на хрен, к терапевту. К тому же не факт, что у нового

мужчины не обнаружится при совместном проживании медвежья болезнь. Или еще какая физиологическая изюминка. На хрен.

Дети и муж просыпаются и идут на кухню полдничать. Они кажутся мне очень милыми (еще не влюбилась, а эффект преступных мыслей уже работает).

В надежде повеселиться, я открываю книжонку Донцовой, которую сама, вот этими самыми руками, купила вчера в ларьке. Притом найдя нужным пояснить продавщице, что это в подарок тетушке. У моей тетки Альцгеймер, и она, святая душа, никогда не узнает, как я прикрылась ее честным именем. Пытаюсь читать, потом забиваю и просто перелистываю страницы.

Тонко нарезанные куски коричневого мяса.

Перед ней маячил утюг.

Веселые, как двухмесячные котята, ребята отправились в магазин.

А то ведь для него могут сыграть опус, который ему уже не суждено будет услышать, я имею в виду похоронный марш.

Толстомордый лысый дядька в милицейской фуражке.

На этом лысом дядьке моя способность получать удовольствие за счет чужого дебилизма прерывается. Я отношу книжку в мусоропровод; прощайте, семьдесят честно заработанных рублей!

Дети требуют гулять. Мы с мужем вяло прикидываем: ночью был ливень, стало быть, на детских площадках теперь месиво из глины и мокрого песка, где уж там – гулять. Вот за границей, обсуждаем мы, на игровых площадках делают такое специальное как бы резиновое покрытие, оно даже и пружинит, чтобы падать было не очень больно.

Хорошо им там, за границей. А нам не то, чтобы плохо, а так.

Муж моет накопившуюся за день посуду, я включаю детям мультики, а сама сажусь за компьютер. И не абы себе как, а с твердым решением написать. Рассказ там, или заметочку в ЖЖ или ну хоть просто чего получится. Лучше всего, конечно, рассказ. Чтоб все сразу, такие, – ай, ой, как здорово, великолепно и как, на хрен, непогрешимо. И чтоб слух о рассказе ширился, рос (такой самопроизвольный пиар без моего участия) и попал бы прямиком в уши к издателю, и чтоб издатель тоже присел, если стоял, или прилег, если сидел, от восторга. И выпустил бы мой рассказ прямо-таки сотысячным тиражом в твердом переплете. Вот это вам да!

Я открываю ворд и набираю: «Один человек жил и чем-то занимался». Главное – концепция, понимаете, а подробности – как человека звали и что же он эдакое делал – приложатся. Сейчас вот новости в интернете почитаю и приложу. Уж столько приложу этих подробностей, что мало никому не покажется.

В новостях пусто. В смысле, что-то в мире, конечно, происходит, но ничего интересного. Так что низменная часть моей натуры, алчущая скандалов и происшествий, остается неудовлетворенной. Равно, впрочем, как и возвышенная часть.

Муж зовет меня и детей ужинать, я отрываюсь: что за черт, вечно мешают вдохновению. Они уходят на кухню втроем, так что мне не суждено узнать, осталось ли масло на своем законном месте, и не возник ли в ящике для овощей использованный подгузник.

Я рассеяно щелкаю по ссылкам (представьте себе эту фразу веке эдак в девятнадцатом) и в какой-то момент попадаю на сайт благотворительной помощи больным детям. А неплохо бы было выиграть в лотерею, допустим, три миллиона. Если бы я выиграла, то полтора миллиона перевела бы такой организации. Вот они обалдели бы! Нет, ну в самом деле. А то вот, смотрю, список последних пожертвований: пятьсот рублей, двести, тысяча. Да, от полутора миллионов они бы сильно удивились. Фишка в том, что в лотерею я не играю, потому что выиграть в нее нереально, и полутора миллионов у меня нет. Не то, что лишних, а вообще никаких. Ну нет и нет, переведу им хотя бы пятихатник, успокаиваю я себя, однако ж закрываю сайт, не записав банковских реквизитов. Как бы машинально, но я-то знаю, что от жадности. Искать ссылку по новой мне лень (девятнадцатый век!).

Через какое-то время мы купаем детей, опять возимся с пижамками и укладыванием, я иду мыть посуду, оставшуюся с ужина. Сегодня можно лечь пораньше – с утра на работу. Уже засыпая, я вспоминаю свой недописанный рассказ. Решительно переползаю через мужа, иду к столу и открываю ноутбук. Он кряхтит, просыпаясь, в тон моему благоверному, и доверчиво разворачивается навстречу мне белым полем с черной строчкой вверху. Я стучу по клавишам.

«Один человек жил и чем-то занимался, а потом умер»

Да, с таким стотысячного тиража не добьешься. Но, будь оно все проклято, это правда.

Подступает понедельник.

-Возраст последний: безоговорочная капитуляция-

Ночью человек очнулся и как подскочит: чучело в опочивальне торчит, черное личиком.

– Чур, чур! – вскричал человек. – Чеснока, что ли, хочется?

– Чахну чрезмерно, – огорчилось чучело, – что мучит-то: чебурашка я аль ангелочек? Чудное начало для ночной речи, подмечаете?

– Причина огорчения, чучело, очень незначительна, – почесал человек чресла. – Помочь получится. А что? Намастрячу сейчас сочных чебуреков. Чебурашка чебуреки схомячит, ангелочек – ни за что. Ангелочку всяческий харч, без исключения, незачем.

Чуть челюсть не покалечил, зеваючи: скучная задача. Что обычному чебуреку по чину? Мучица, лучок с чесночком да начинка – загадочность ни при чем.

– А ты, чучело, читай мне чешские частушки и скажи чечетку: развлечения хочется.

Паче чаяния, чучело в Чехии не числилось – так уж случилось, – отчего зачирикало частушки про Чечню. Ну, человеку-то что – про Чечню, так про Чечню, но чтобы с чечеткой.

Чебуреки получились замечательные: горячие, сочащиеся, смачные. Величественные чебуреки, числом значительным.

– Ну, нахозяйничался. Чучело, начинай!

Тотчас чучело, чавкая, заточило четыре чебурека, ручонками посучило и ну капризничать беззастенчиво:

– А чайку, да погорячее? Иль чекушечку? Почто чухаешься?

От чудо: чучело на что беспорточное, а чванливое.

– Сволочь ты, хучь и чебурашка, – закручинился человек. – Чайник под чехлом. Потчевать что-то не хочется.

И в опочивальню отчалил.

Не чувствуя от чебурашки приличествующего случаю почтения, значит.

А чебурашка, до чебуреков охочий, челюстями зачастил. Через час четырнадцать чебуреков прикончил и от чудовищного чревоугодия чокнулся, да. Но чуть полночь отстучала – исчез.

Заморочил человека, чувырло.

Лучше бы ты был ангелочкам, чебурашка: и человеку почет, и чебуреки не початы.